

Анатолий Курчаткин

ЧЕРЕЗ МОСКВУ ПРОЕЗДОМ



Анатолий Курчаткин

Через Москву проездом (сборник)

«Автор»

1981

Курчаткин А.

Через Москву проездом (сборник) / А. Курчаткин — «Автор», 1981

Вышедшую впервые в 1981 г. в издательстве «Советский писатель» книгу составляют тринадцать рассказов, написанных в конце 70-х гг. Среди них такие, как «Ноздряха», «Десятиклассница», «Гамлет из поселка Уш» и другие, вызвавшие бурную реакцию литературной критики. Именно с этой книги, ставшей настоящим общественным явлением, имя писателя прочно вошло в литературу и сделалось широко известным. Вот что пишет сам Анатолий Курчаткин о сборнике «Через Москву проездом»: «По счету это моя третья вышедшая в советские времена книга, но в некотором роде она первая. Она вышла в том виде, в каком задумывалась, чего не скажешь о первых двух. Это абсолютно свободная книга, каким я написал каждый рассказ – таким он и увидел свет. Советская жизнь, какая она есть, – вот материал этой книги. Без всяких прикрас, но и без педалирования „ужасов“, подробности повседневного быта – как эстетическая категория и никакой идеологии. Современный читатель этих „рассказов прошедшего года“ увидит, что если чем и отличалась та жизнь от нынешней, то лишь иной атмосферой жизнетворения».

© Курчаткин А., 1981

© Автор, 1981

Содержание

Ноздряха	6
Поездка	27
Перекресток	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Анатолий Курчаткин
Через Москву проездом (сборник)

© А. Курчаткин 2017

* * *

Ноздряха

Ночью Ноздряхе приснился страшный сон. Ей снилось, будто ее выдают замуж, и она проснулась в крике и поту, а потом увидела, что от страха встала во сне на коленки.

– Вот дура, – сказала она сама себе, когда поняла, в чем дело, легла, угрелась под ватным одеялом и решила снова заснуть.

Но она еще и засыпать не стала, как опять ей привиделось, будто выдают ее замуж, и она спрыгнула на пол, погуляла по холодному полу босыми ногами, чтобы проснуться, а потом зажгла свет. В длинной бумазейной рубашке с пуговками от ворота до того самого места, что если не застегнешь, так уже виден стыд, она посмотрелась в трельяжное зеркало, стоявшее под выключателем, помолчала, а потом снова назвала себя дурой:

– Тебе, дура, может, в космос полететь?

Разбуженный ночным светом, шагами и голосом хозяйки, из кухни, шваркнув о косяк дверь, вылез заспанный Браслет, посмотрел на Ноздряху, толкнул ее тупой твердой головой в ногу, шмякнулся на бок, свернув свое большое толстое тело калачом, и закрыл глаза. Ноздряха присела над Браслетом на корточки, потрепала его за жирные складки на загровке и сказала:

– Мы уж лучше с тобой вдвоем. Как-нибудь. Угу?

Браслет нехотя разлепил один глаз, мутно посмотрел на Ноздряху, моргнул, смежил веки и фыркнул, задвигав носом.

Фырчание его означало, что умные люди ночью спят, а не шлындают по полу босиком, и он тоже, по своей многолетней собачьей привычке, приспособился спать ночами, поэтому лучше ему не мешать, если нет никакого срочного дела.

Срочного дела не было, однако Ноздряха пошла в сенцы, сунула ноги в калоши, натянула поверх рубашки старый солдатский бушлат, неведомо с каких пор висевший здесь на гвозде для таких ночных обстоятельств, и отворила дверь. Ночь пошла на убыль, высветлялось, где-то далеко, за речкой, голос испуганного часового из воинской части крикнул: «Стой, кто идет!»

– Это я, дура стоеросовая, – сказала Ноздряха себе под нос. – В космос мне б полететь еще...

Она облегчилась, доковыляла обратно до дома, и тут на короткое мгновение времени ей почудилось неумогу идти в пустой темный дом, с одной равнодушно, как по долгу службы привязанной к ней собакой.

Предутренняя летняя тишина разливалась вокруг, и пребывание каждого живого существа на земле казалось в этой тишине исполненным высшего смысла.

– Замуж ей захотелось, – сказала Ноздряха о себе в третьем лице, хлопнула дверь, высвободилась из бушлата, вылезла из галош и сосредоточенно пошлепала в комнату к постели.

Прозвище Ноздряха Глаша Стволыгина получила от своей внешности. У нее был нос ноздрями вперед, отчего лицо имело выражение вызывающей нахрапистой глупости, и, глядясь в зеркало, Глаша называла себя дурой, а товарки по камвольной фабрике, на которой она работала, прозвали ее Ноздряхой. Когда в обеденный перерыв за шаткими пластмассовыми столиками фабричной столовой случалось ругать кого из начальства, Нюрка Самолеткина, белоzubая крупастая баба с крашенными в блондинистый цвет волосами, заканчивала базар одним и тем же присловьем: «А вот Ноздряха возьмет да чихнет на них всех, от них одно сопливое место и останется». Глаша смеялась, потому что Нюрка была ее подруга и потому что она уже притерпелась к насмешкам над своей внешностью, а между тем внутри ей было печально. Ей давно уже было всегда печально.

Ей только исполнилось тридцать, а она уже похоронила трех мужей.

Первого мужа Глаша помнила плохо, – он был солдат, они по ночам виделись, в его самоволки; эти-то самоволки и стали причиной его преждевременного ухода из жизни. Однажды, возвращаясь от Глаши, он наскочил на патруль, побежал; подступала зима, гололедило, он поскользнулся, треснулся головой об лед – да и остался лежать. Врачи потом говорили ей, что это довольно редкий случай, должен был отделаться сотрясением мозга, но он, видимо, очень шибко бежал, и не твердый лед, а скорость убила его. Плача по своему первому мужу, Глаша думала, что это даже не скорость, а она виновата во всем, потому что просила приходить его почаще и не попадаться, так как тогда бы его посадили на гауптвахту и она не смогла бы видеть его слишком долго.

Она очень плакала по своему солдатику – его Герой звали, и волосики у него на голове были белые-белые и мягкие, как у ребеночка прямо, – но ей было всего восемнадцать лет с четырьмя месяцами, и спустя короткое время она снова стала ходить в «Стамбул», клуб строителей, где познакомилась со своим первым мужем, а потом, когда пришла весна, а за нею лето, – на танцверанду в парке, и там, тоже на танцах, познакомилась со своим вторым мужем – Васей. К ней тогда, когда она снова стала ходить на танцы, многие подбивали клинья, и она – дай только себе расслабиться – легко бы могла, как другие в ее ситуации, потерять свое недавнее девичье достоинство, но она ни с кем не позволяла себе иметь ничего такого, хотя и жила одна в пятистенном доме. Она и с Васей ничего себе не позволяла, это ему в ней и понравилось, а то, что у нее был муж, он простил, потому что ей надо же, конечно, было устраивать жизнь и знай она, что он так опрометчиво поскользнется, ни за что бы, понятно, не пошла за него.

Со вторым мужем Глаша прожила шесть лет, и первых два года было так хорошо, что она от спокойной да гладкой жизни начала наливаться жиром, и пришлось закупать новые лифчики – четвертого размера, да и те жали. Потом анализы показали у нее неправильную беременность, опасную для ее жизни, в областном центре Глаше сделали операцию, оставив шрам по всему животу, через год у нее все повторилось, ей сделали еще один шрам, и она лишилась возможности рожать. Вася начал пить, а выпив, кричал на нее, что она нарочно так сделала, чтобы спать с любовниками сколько влезет, и бил ее, и Глаша утомилась от этого и похудела, но не знала, что делать. А Вася все пил да пил, и однажды к ней прислали нарочного с завода, на котором Вася работал слесарем, и сообщили, что муж ее с дружкой ошиблись банками и выпили вместо хорошего спирту плохого. Дружка его отходили, но Васин организм не преодолел действия яда, и через два дня мужа у Глаши опять не стало. И когда его не стало, Глаша забыла, как он кричал на нее и бил, и опять ей показалось, будто это она виновата, что так вышло, и сделалось ей на земле одиноко и пусто.

Глаша не помнила ни отца, ни матери, а также никого другого из своей фамилии, вырастила ее одинокая старуха Катя, добывавшая свой прожиточный минимум работой в исполкомовском плодовом саду. Катя была обезмужена войной и обездетена и, растя Глашу, учила ее, что главное женское дело в жизни – примоститься возле мужчины и сделаться ему необходимой, как челнок необходим швейной машинке. В школе учили другому, но Глаша не понимала, с кем и за что она должна бороться, и к шестнадцати годам, когда Катя умерла, успела проникнуться ее правдой.

И когда ей предложил пойти за него замуж сосед – отставной полковник с собакой и именными часами от Маршала Советского Союза Гречко, Глаша тут же согласилась. Молодому она не могла портить жизнь, так как не в состоянии была рожать детей, вот и выходило, что старый человек – это теперь как раз ее партия.

Полковник был болен, с уставшим сердцем и изнемогшей работать печенью, ему нельзя было есть жирное, жареное, мясное, а собака лопала столько, что можно, было прокормить на те деньги полк. Глаша бегала по магазинам и на колхозный рынок – покупала, варила, кормила, но фабрики не бросала – фабрика давала ей ежемесячно сто двадцать рублей, и терять такую сумму было бы ей накладно. Раз в четыре месяца регулярно полковник отправлялся в госпи-

таль на профилактическое лечение, и Глаша по воскресеньям моталась на автобусе туда-сюда сто километров с набитыми авоськами.

Когда полковника похоронили и собравшиеся по такому случаю родственники, а также городская и военная общественность расселись за столом, чтобы справить поминки, Глаша ушла в свой пустовавший четыре года дом, села там на холодный железный лист под поддувалом печи, засунула голову себе между коленями и заплакала. Она потеряла свою правду жизни и теперь не знала, как ей жить дальше. Она хотела, чтобы кто-нибудь умный и все знающий взял ее за руку, повел и показал, что ей теперь делать, как быть, но никого такого не было.

Стояла зима, в нетопленном доме было как на улице, и Глаша скоро застыла. От этого слезы у нее вымерзли, и она поднялась, нашла в сених заготовленные четыре года назад на растопку сухие дрова, вспомнила, поднатужившись, где лежат спички, и вздула огонь. Отвыкшая от предназначенной ей работы, печь задымила из всех щелей. Глаша легла на пол, возле огня, спасаясь от дыма, и тут и заснула и пронулась оттого, что ее дергали за уши и лупили по щекам.

– Чего... Это чего?.. – забормотала Глаша, выставляя руку перед лицом и жмурясь от электрического света, заполнявшего кухню. – Это как?.. – Узнала Нюрку Самолеткину, рванулась и закричала: – Че, сдурела?!

– Фу, проклятушая! – Нюрка отпустила Глашу, зубы у нее вылезли из-за губ, и она захохотала: – Спала, что ли? А я думала – угорела.

Глаша огляделась и увидела, что дым весь вытянуло, а дрова обратились в угли, не нагрев стен.

– Сморило меня чего-то, – сказала она, трудно поднимаясь с пола и ощупывая будто обваренные уши. – Скажи, Нюра, отчего мне судьбы нет?

– Судьба у тебя есть, – сказала Нюрка, возвращаясь из сеней и громыхая дрова из охапки на железный лист под поддувалом. – Ты ее только неправильно понимаешь и взять не можешь.

Она устроила в печи огонь, и разбуженные Глашей дымоходы, заревев от удовольствия, потянули в себя пламя.

– Теперь я, Нюра, снова буду тут жить, – сказала Глаша. – Ты ко мне почаще заходи, я теперь одиноко жить буду.

– Дура и есть, – отрезюмировала Нюрка. – Молодая ты еще, солдатиков-то вокруг сколько – да у тебя простыни простывать не будут.

Но Глаша переселилась в свой дом и стала жить одиноко, потому что теперь она боялась мужчин, и, видимо, страх наложил на нее тайную мету – мужчины тоже обходили ее своим вниманием.

Дом полковника Глаша как законная вдова получила в наследство, продала его, а деньги положила на книжку, которую завела еще с первой получки на камвольной фабрике и на которой, до того как она поместила на нее деньги, вырученные за дом, скопилось восемьсот пятьдесят два рубля и тридцать одна копейка. Полковничью собаку Нюрка Самолеткина советовала Глаше сдать на живодерню, но Глаша никуда ее не сдала и гуляла с нею по вечерам, хотя собаке это и не нужно было, так как она давно уже превратилась в дворовую и бывала на свежем воздухе больше, чем в помещении. Прогулки эти нужны были Глаше – чтобы не все время сидеть дома да смотреть телевизор.

Город, в котором жила Глаша, имел пятнадцать тысяч населения, двадцать три улицы, один консервный и один механический заводы, камвольную фабрику, Дом культуры строителей «Стамбул» и Дом офицеров. Освещение работало на одной центральной улице, а выходя за ее пределы, почему-то теряло свою жизнестойкость и днем, под лучами солнца, поблескивало остатками стекла от разбитых лампочек. В добрые снегопады улицы, застроенные частными домами, заваливало по макушку изгородей, и, выходя на работу, каждый прихватывал лопату, чтобы расчищать себе путь.

Время шло, и Глаша понемногу оттаяла, и раза два даже разрешила Нюрке Самолеткиной привести к ней в дом на предмет знакомства товарищей ее хахалей, пила вино, смеялась и танцевала, но, когда дело доходило до большего, скучнела и обнаруживала, что ничего ей не надо. Какой-то стебель, по которому поступала в ее тело жизнь, засох, и она жила без интереса к ней, как прошлогодняя трава к весеннему теплу. Но трава перепревает под солнцем и сгнивает, давая земле удобрение, а она была живой человек и ей надо было чем-то жить.

– Че же делать-то, Нюрка?! – стонала Глаша, когда ухажер ее обозленно сдергивал с вешалки пальто и уходил шлепать в темноте по грязи. – Это ж за что мне судьбы нет?

И всякий раз Нюрка говорила ей с убежденностью и усердием спасающего заблудшую душу пастыря: – Судьба у тебя есть, только ты ее неправильно понимаешь.

На Первое мая в клубе фабрики, как это водилось, состоялось торжественное заседание, концерт солдат из ближайшей, за речкой части, а после – танцы под их оркестр с трубой и барабаном. Глаша наметила после концерта идти домой, вышла уже на улицу, но оркестр играл так громко и хорошо, что ноги у нее стали будто колоды – не сойти с места, стояла в простенке между окнами, слушала и редела. Тут ее и увидел председатель профкома, Валька Белобоков, давно когда-то, много уж лет назад, сидевший с ней за одной партией, теперь здоровый мужик с шишкатым толстым лицом, высокий и широкий, как пресс с соседнего механического завода. Он уже выпил в буфете и шел во двор опростать, видимо, организм от ненужной жидкости, веселый и довольный, булькая себе под нос ту мелодию, что играл оркестр.

– Ах ты! – закричал он, увидев Ноздрюху, шлепая себя рукой по большой звонкой ляжке. – Вот ты где! Давно я с тобой на эту тему поговорить хочу. Люди, понимаешь, коммунизм строят, к светлой жизни идут, а она все нюни распускает. Что-то ты как-то не так живешь!

Сам он знал, как надо жить, и жил с толком: имел жену и двух детей, трехкомнатную квартиру, цветной телевизор, ковер на стену и ковер на пол, а также «Запорожец» первого выпуска, который, чтобы он не изнашивался раньше времени, держал в гараже, а по воскресеньям выводил на волю, чистил, смазывал и ставил обратно.

– Кто б мне посоветовал, как надо, – сказала Глаша, отворачиваясь, вытирая слезы и хлюпая носом. – А то мне больно охота как-то не так-то жить.

Председатель почесал громадной своей пятерней в волосах, образовав в них пробор, и задумался, двигая из стороны в сторону челюстью, глядя мимо Глаши.

– Двигай-ка ты на БАМ, – сказал он наконец, вздохнул и посмотрел на Глашу. – Или в Москву. Тебе в бучу надо, в кипень, бурлило вокруг чтоб. А у нас что, разве ж у нас... э! Заводь у нас, в хвосте плетемся... Двигай в Москву! – Он взял Глашу за плечо и так сдавил его, что она аж взвизгнула от боли. – Вот я тебе говорю – в бучу, в кипень, прими совет.

Он ушел по двору в нужную ему сторону, и весь разговор между ними на этом кончился, но Глаша удержала его в памяти и теперь, какая б минута ни выпадала, оказываясь вдвоем с Нюркой Самолеткиной, спрашивала у той:

– Так че же мне, ехать, как мыслишь?

– А поезжай, потолкись, почешись о людей-то, – отвечала Нюрка. – Чего и вычешешь, дело такое...

К осени Глаша дала Нюрке свести Браслета на живодерню, поревела с пустым ошейником в руках, сходила на могилки мужей, заколотила дом и поехала в Москву наниматься на стройку, чтобы начинать новую жизнь.

* * *

В Москве Ноздрюха согласно совету председателя профкома хотела устроиться на какую-нибудь большую стройку, но угодила в СУ, строившее обычные жилые дома. Работала она первую пору ученицей, получала мало, прижималась, чтобы не залезть в книжку, и жалела

уже, что не осилила себя супротивиться искушению. Но она была рабочая женщина, и руки у нее были ловкие до всякого дела, через два месяца она сдала экзамены в комнате планового отдела управления, ей присвоили разряд, и она стала отделочницей. Общежитие, в котором ее поселили, было громадным белым домом о девять этажей и шесть подъездов, с четырьмя квартирами на лестничной клетке, каждая квартира отдельно запиралась, Ноздрюха жила в двухкомнатной – всего впятером: трое в четырнадцатиметровой, двое в десяти. Ноздрюхина кровать стояла далеко от окна, у внутренней перегородки, и с кровати, если дверь в комнату открыта, она видела прихожую с зеркалом на одной стене и вешалкой на другой. Соседки у Ноздрюхи были все молодые девки, никому двадцати, одна только городская, из такого города Ирбит на Урале, остальные деревенские, да они уже жили в Москве до Ноздрюхи и год, и два и приделались – поди разбери откуда, Ноздрюха у себя в городе и не видела, чтоб так одевались.

Она выходила против них совсем старухой, и они, в особые минуты своего любопытства, все пытали ее:

– Слышь, Глафир, а тебя-то чего понесло? Мужика, что ли, бросила, убежала подальше?

Ноздрюха не отвечала, чего б они поняли? Она оглядывалась по сторонам вокруг себя, пытаясь понять жизнь, которой приехала учиться, и душа у нее не просилась наружу, а хотела насытиться окружающей, незнакомой ей правдой и отяжелеть ею.

– Да подите вы, вот пристали-то как банный лист, – разрешала она себе ответить соседкам, когда те уж шибко донимали ее. Усмехалась при этом, и лицо ее от ухмылки принимало выражение законченной, тупой глупости.

– Глафир, а ты признайся честно, мы тебя не выдадим, – с серьезным видом, собирая морщины над мясистым переносьем круглого конопатого лица, говорила Маша Оплеткина, крепкая, твердая, как кус замороженного мяса, девка, на спор она выжимала на стройке ведро с краской семь раз, – честно признайся: может, ты от алиментов бегаешь?

Разговоры эти случались в воскресные ленивые дни, когда все оказывались вдруг дома и без дел, сбивались чистить картошку, нажаривали ее на постном масле три полные сковороды и долго, сначала жадно, изголодавшись за приготовлением, потом медленно, ковыряясь, ели ее, устроившись на кухне за общим столом, запивали молоком и кефиром из пакетов, наедались и, наевшись, брались пощелкать в домино, покидать карты или порезаться в «морской бой».

– А, Ноздрюха? Точно, что от детишек?! – толкала Ноздрюху в бок, подхватывала шутку бывшей своей односельчанки тощая Надька Безроднова. Ноздрюха как-то рассказала, как ее прозывали на родине, и Надька, когда злилась, всегда теперь называла ее Ноздрюхой. А злилась она без передыху, по природной своей склонности, оттого даже, что светило солнце, а по телевизору вчера в красном уголке обещали снег. – И не совестно, а? – обидным голосом кричала Надька. – Ты ж баба, Ноздрюха!

От поминания детишек, которых судьба навек заказала иметь ей, у Ноздрюхи в носоглотке шебаршило, будто она, вытряхивая из куля цемент или алебастр, дохнула его облаком; она укрепляла себя, крупно дыша, косясь в сторону большим жадным ртом, чаще не удерживалась, вставала, сбив легковесную пластмассовую табуретку на пол, бежала к себе в комнату и валилась там на кровать, вниз изуродованным своим животом в синей перетяжке шрамов, невидимых под одеждой.

– Можете вы наконец отстать от человека, что привязались? – кричала, выбегая из другой комнаты, никогда не садившаяся после картошки играть со всеми, а уходившая к своей кровати бормотать всякие непонятные, из чужой жизни слова или читать разные толстые книги, которые таскала откуда-то целыми связками, Полина Светловцева. Это она была городская, поступала нынче в театральный институт, провалилась и теперь, чтоб не уезжать из Москвы и прокормиться год, работала на стройке подсобницей. – Самих чего принесло, небось не сиделось на месте-то?

Надька отмалчивалась, Маша бормотала что-то кающееся и вслед за Полиной шла к Ноздрюхе.

– Ну ты это... Глафир! – говорила она, топчась у нее в ногах, у спинки кровати. – Ну опять я... характер у меня такой, я не в злобе, слышь!

– Так а я ничего... ничего я, нет, – отвечала Ноздрюха, поворачиваясь, улыбаясь своей глупой улыбкой, отирая слезы рукой. – Поль, а ты чего? Какой шум-гам из-за меня. Я сейчас чай сооружу, пить будешь?

– Давай, – отвечала Полина.

Они обе были чаевницы, и Ноздрюха любила пить с нею чай. Полина пила чай крепкий, как деготь, и, когда пила, рассказывала Ноздрюхе о книгах, которые сейчас читала, о разных писателях и о разных актерах, умерших и еще продолжающих жить, из многих книг она знала наизусть и к случаю проявляла перед Ноздрюхой свою память.

– Вот он как пишет, вот какая музыка – послушай, все мировоззрение его той поры в этом стихотворении, вот послушай, с какой силой он это все выразил, – говорила она и начинала: – «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь – начнешь опять сначала. И повторится все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Чувствуешь?

– Умрешь, так оно как повторится-то? – с недоумением спрашивала Ноздрюха.

– Это поэтический прием, это средство усиления, сильнеешего, причем, усиления, откуда и мощь этого стихотворения, – отвечала Полина. – Та безысходность, которую оно рождает.

– Рябь, мол, канала, да?.. – тянула Ноздрюха. – Да нет, это неправда, ниче не повторяется, – отвечала она потом самой себе. – Ушло – и все, кануло – и нет. Я уж знаю.

Полина улыбалась, хлебая свой деготь, – она никогда не перечила Ноздрюхе, а только улыбалась вот так, уклоняя глаза к столу. Она была красивая девка, все при ней – будто по лекалу сделанная, и Ноздрюха то и дело пыталась ее:

– Вот ладно, вот поступишь в свой театральный, отучишься, а ну-ка муж-то не захочет, чтобы ты на сцене-то дрыгалась?

– Как так не захочет? – смеялась Полина. – Я такого найду, чтоб хотел.

– Это кому же захочется-то? – не понимала Ноздрюха. – У них, говорят, у актрис, певичек там всяких, одни любовники, потому как мужьям с ними никакого терпежу нет.

– Да ладно тебе, – еле переводя дух, смеялась Полина. – Серьезно, что ли? Да брось!

– Нет, а вот в самом-то деле? – не унималась Ноздрюха. – Так что же, и будешь одна, а смысл-то какой?

– Да почему одна-то? – отсмеявшись, вытирала слезы Полина. – Найду кого-нибудь. А и одна если. Работать буду, играть – вот и смысл.

– Ага, ага... – говорила Ноздрюха. – Вот как...

Ей нравились люди, которые умеют работать, потому что сама она если бралась за что, то делала так, чтобы сердце не болело бы потом совестью. Из-за этого-то у нее и случались на дню по пять раз стычки с бригадиршей, ее, Ноздрюхиных, лет бабой, тоже деревенской в прошлом, но уже чуть ли не полжизни прожившей в Москве, обвыкшейся в ней и глядевшей оттого на Ноздрюху как на недоделанную.

– Ты что, ты что, ополоумела? – кричала бригадирша, видя, как Ноздрюха заделывает раствором стык между блоками. – Куда толкашь-то столь, возишься час цельный – дачу, что ль, себе строишь? Промажь сверху, чтоб обои легли, и хорош.

– Так ведь холодом же тянуть будет людям-то, – объясняла Ноздрюха.

– Ты за людей не беспокойся, ты о бригаде подумай, что она с твоей возней заработает! – отвечала ей бригадирша, выхватывая у Ноздрюхи мастерок и быстро, быстро, ловко и красиво шлепала на стык раствором, скребла мастерком, размазывая, растирала, подправляла пальцем. – Во, гляди! Красота! Ну-кась, давай погляжу, как сделаешь. Не дури только!

Ноздрюха, мучаясь, делала у нее на глазах, как было велено, бригадирша уходила – и она начинала работать по-прежнему, а когда, сбегав в магазин за свежим кефиром и батонами, садилась в бытовке за столом пообедать, жаловалась Маше, с которой кроме того, что вместе жила, была и в одной бригаде:

– Нешто можно так, ты сама посуди?

Маша, одетая для стройки в толстый и прочный, как кирза, серый хлопчатый костюм с мордой волка на упругой попе: «Ну, погоди!», с хрустом вода из стороны в сторону челюстями, будто жерновами, отвечала:

– А оно, Глаш, и так дуть будет. Рамы-то какие – держат они тепло, что ли? Котельня хорошо натопит, так и не замерзнут. Сама, что ли, не в таком же доме живешь?

Была в ее словах правда, и Ноздрюха не находилась, как ответить наперекор, но, когда, наевшись, вновь шли к своей башне, вокруг которой уже урчали железными утробами, лязгали гусеницами, отгребая от нее подальше разный ненужный строительный хлам, бульдозеры, готовя ее к сдаче, и вновь принималась за работу, она опять делала по-своему и заталкивала под плитуса раза в три больше шпаклевки, чем другие.

– Так сверху-то если только, – объяснялась она опять с бригадиршей, – так это ведь для блезиру только, толкни – и ускочит вглубь. Станут мыть, вода затечет – и вспучит паркет.

– У-у, деревня необразованная!.. – злилась бригадирша. – Вспучит ей!

– Я и не из деревни вовсе, – обижалась Ноздрюха.

– А еще хуже. Из деревни-то, те понятливее.

Ноздрюха была бы и рада выучиться работать как все, но тогда работа не приносила бы ей удовольствия, а без удовольствия от работы ей было бы нехорошо на душе. Когда вечером, в темени уже, по зимней-то поре, выходила, переодевшись, из вагончика бытовки, бежала по визжащим мосткам, оскальзываясь и оступаясь на застывшем шишками льду, к сигналившему автобусу, который должен был увезти к общежитию, стоя уже у распахнутой створчатой двери, она окидывала взглядом неловко вздыбившуюся к небу неуклюжую. коробку отделяемой башни, и в груди шероховато ворочался теплый, сладкий ком.

Так вот и шли дни ее новой жизни, опять похожие друг на друга, как схожа ткань с разных станков, но из одинаковых ниток. Ноздрюха клала в себя чужую новую мудрость и, хотя не понимала ее, она надеялась, что, отягчившись, душа, как пораненное место, нарвавшее гноем, очистится от своей боли и выздоровеет. Она прожила в Москве пять месяцев, а ей казалось, что она давно уже так живет, много лет, сызмальства.

* * *

Была суббота, и Маша с Надькой и Дусей Петрищевой, пятой соседкой, из одной с Ноздрюхой комнаты, собирались в магазины на Калинина. Бегать по магазинам, если б не работали, могли бы они каждый день с утра до ночи.

– Глафир, пойдем! – уговаривала Ноздрюху присоединиться к ним Маша. Расшарашив ноги в черных, туго по икре, жеваной кожи сапогах, она стояла в коридоре перед зеркалом и драила себе ресницы из круглого белого футлярика черной щеткой, Ноздрюха лежала на своей кровати, дверь в комнату была открыта, подперта стулом, и они как раз друг друга видели. – Чего ты здесь киснуть будешь, день-то какой, ты глянь, солнце – ровно масляное, воздухом подышишь.

– Какой воздух в магазинах-то, – отнекивалась Ноздрюха.

– Так а к ним-то что, под землей идти будешь? – прижимала Маша.

– А вот как раз под землей, в метре-то, – отвечала Ноздрюха. – Да там че, в магазинах-то, че каждую-то неделю бегать?

– Не понимает ни фиги Ноздрюха московскую жизнь, – громыхая сапогами, как солдат, вышла в прихожую из соседней комнаты уже и в пальто, и в шапке Надька. – Пускай лежит, сетку давит, раз не понимает. Сетка не своя, казенная.

Ноздрюха не ответила Надьке. Чего ей, на ее злобу, можно было ответить – тоже злобой, а зла в Ноздрюхе ни на кого никакого не было. – А и то, пойдем, может? – тихо спросила Ноздрюху Дуся. Она тут же, рядом с Ноздрюхой, возле своей кровати, тихохонько собиралась и одевалась – Ноздрюха ее и не слышала. Дуся была такой неприметной, маленькой, белоглоленькой, тоненькой, такой малословной и неслышной в движениях, что не гляди на нее – и забудешь, что она рядом.

– Да не, Дусь, – благодарно за ее заботу повернула к ней Ноздрюха голову. – Чего мне по магазинам... Не. Старуха уж я... Спасибо.

– Да и верно, что старуха, – услышала ее из коридора Надька. – Давишь все утро кровать задницей.

– Ой, да утихомирься ты, укорогу на твой язык нет! – закричала из своей комнаты Полина. – Вот кому-то достанешься, хлебанет с тобой!

– А с ними, нонешними, так только и можно, – даже довольная Полининым приговором, засмеялась Надька. – Он у меня по одной половице ходить будет, сапоги мне мыть станет.

Они ушли, визжа о сухой пол каблуками, захлопнулась дверь, и Ноздрюха позвала Полину:

– Поль, слышь?! Чай сооружу, будешь?

– Давай, – согласилась, как обычно, Полина.

Ноздрюха встала с кровати, поправила ее, обулась и мимо Полининой комнаты пошла на кухню. Полина тоже лежала на кровати, грызла то ли сухарь, то ли печенье и читала.

– Слышь! – сказала Ноздрюха, останавливаясь у двери. – Че вот ей, Надьке-то, что я лежу, сетку давяю? Хочу – и лежу, может, чтоб им не мешать, под ногами у них не путаться. Откуда в ней злобы-то столько?

– От верблюда, – сказала Полина, бросив книгу под подушку, и села на кровати, спустив на пол ноги. – Вопросыки у тебя. Ты меня чего полегче спроси.

Она пошла на кухню вместе с Ноздрюхой, помогла ей собрать на стол, и они сели напротив друг друга у окна, глядя сверху на засыпанную снегом землю, тесно уставленную по ровному чистому полю узкими, плоскогрудыми, будто чахоточными, панельными и блочными домами.

– Может, она оттого злобится, что я компанию не поддерживаю? – сказала Ноздрюха. – Так была уж я в ихних магазинах, ходила, толкалась, боле неинтересно. – Чего в них ехать-то... Куда б еще, другое дело.

Полина налила себе дегтю, а Ноздрюхе светленького, какой та любила.

– Да не переживай ты, – сказала она. – Подумаешь...

– Куда б еще, другое дело... – повторила Ноздрюха, беря кусок пиленого рафинада из белой картонной коробки и откусывая от него хрумкнувший уголок. – Скучно, конечно, сычхой-то цельну субботу-воскресенье сидеть...

– Ой, слушай! А хочешь, я тебя в наш театральный коллектив сведу? – блестя глазами, спросила Полина. – А? Вот интересно, нет, ей-богу, вот будет здорово!

Ноздрюха засмеялась.

– Чего мне там? Я этим вещам не обучена – дрыгаться-то. Встану все равно как бревно на сцене-то на твоей.

Полина ответно засмеялась Ноздрюхе, но глаза у нее, будто по форме луковицы вырезанные и так же лаково-коричнево золотившиеся, заблестели еще больше, как смазанные яйцом.

– А я тебя заставляю разве на сцену лезть? Сядешь, Глаш, да смотреть будешь. Знакомлю тебя со всеми. Там, думаешь, что, там не профессионалы же – после работы ходят,

старше тебя есть. Это я, Глаш, бегаю... там руководитель – актер из театра, помочь потом обещал. Поедем давай. Давай. Сейчас вот прямо соберемся и поедем. Нынче как раз на день назначено.

– Да не, ну чего ты... – отбивалась Ноздрюха, но у самой уже засвербило внутри, тянуло уже вслед за Полиной: ровно предложили ей искупаться в летний день, теплая здесь, мол, вода и чистая, не умеет плавать – а лезет...

– Давай, давай, – подтолкнула Полина Ноздрюху к краю. – Чего бояться...

В Дом культуры, при котором состояла Полина студия, надо было ехать сначала на метро, потом на автобусе, а потом еще идти минут десять пешком. Дом культуры был большой, трехэтажный, с колоннами у входа, они с Полиной разделились в гардеробе, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и пошли по широкому коридору с зажженными квадратными лампами люминесцентного освещения под потолком. По обе стороны коридора тянулись двери с табличками. «Хоровая капелла», читала Ноздрюха, «Шахматный клуб», «Изостудия»...

– Пришли, – сказала Полина у двери с надписью «Драматическая студия» и с маху открыла ее.

Ноздрюха не очень помнила, как там потом все происходило, когда Полина втащила ее за собой.

– Гости съезжались на дачу! – сказал кто-то густым баритоном, высоко поднимая голос и далеко друг от друга расставляя слова.

– И привозили с собой те-етушек... – выпел вслед ему другой голос, помоложе и потощее.

– Это моя приятельница, Глаша, познакомьтесь, пожалуйста, – говорила Полина. Ноздрюха брала чьи-то руки во вспотевшую свою ладонь, силилась улыбаться, вроде даже говорила что-то...

Очнулась она уже в углу, на стуле за большим, красным, как флаг, роялем и точно помнила только то, что, когда шла к нему, запуталась в собственных ногах, споткнулась и чуть не грохнулась на пол.

«Зачем пошла. Вот дура-то, а, – ненавистно шептала себе под нос Ноздрюха, ссутуливаясь за роялем, чтобы никто ее особо не замечал, будто ее и нет здесь. – Совсем сдурела, дура стоеросовая, че приперлась-то... как теперь и уйти – через всю комнату-то, глядеть же все будут...

Комната имела в себе метров шестьдесят, а может и больше, в четыре высоких окна о три створки, и в ней ходили, стояли, сидели на стульях у окон, разговаривали и молчали человек пятнадцать-двадцать, парни и девушки, как Полина, мужики и бабы, как Ноздрюха, и все они, видела Ноздрюха, довольны, что они здесь, собрались все вместе, для дела, которое любят, и всего другого, что помимо его, но, возможно благодаря этому связавшему их делу, она же пришла из одного любопытства, и все, чем они владели, для нее было закрыто, не было ей в этой комнате места – здесь даже, за роялем. И Полине, которая так тащила ее сюда чуть не волоком, она тоже не нужна была здесь, Полина привела ее – и оставила, балаболила на другом конце комнаты, крутясь на каблуках, оттопырив вверх носки сапог, с высоким, как кран, уса-тым черным мужиком в белом тонком свитере-водолазке, висла, подгибая колени и взвизгивая, на его толстой, как бревно, руке, которую он сгибал в локте и поднимал перпендикулярно полу.

Дверь растворилась, и скорым шагом, будто нога у него выбрасывалась вперед пружинной, вошел широкомордый краснощекий мужчина с розовой плешью на темени.

– Здравствуйте все! – с веселостью в голосе на ходу громко объявил он, пересек комнату, бросил на стул у окна прыгавший у него в руке плоский, навроде коробки из-под сапог, только поплотнее все-таки, и черный чемоданчик-дипломат и стал здороваться за руку, с кем оказался рядом, и опять повторял: «Здравствуйте все! Здравствуйте все!» Потом, стоя у стула, потрагивая ручку на чемоданчике, минуты две или три он о чем-то еще говорил с этими близстоящими, довольно и весело, во все свое широкое лицо улыбаясь, и вдруг закричал, огляды-

ваясь: – Выгородка где, не вижу! Радкевич, Светловцева, Маракулин, вашу сцену проходить будем – почему не подготовили?

Мужик в белой водолазке, на громадной руке которого качалась Полина, и еще один бросились таскать на середину комнаты стулья и странно, то по два, то по три, один боком, другой вверх ножками, их расставлять. А Полина, оставшись одна, сделала левую ногу за правую, взялась пальцами за швы у брюк, растащила их в стороны, сколько хватило ширины, и присела, Ноздряха видела – так по телевизору делали, когда барышень играли в дореволюционную пору, книксен это называлось.

– Не кричи так, нянечка. Не сердись на меня сегодня, – сказала она.

Толсторожий захохотал, подхватил свой чемоданчик со стула, поставил его подле ножек, сел, забросил ногу на ногу и помахал правой рукой с угрожающим указательным пальцем:

– Не из той сцены, голубушка! Не в образе живете. Выступление не в вашу пользу.

Это тот самый, видимо, был актер из театра, руководитель. Ноздряха залезла поглубже за рояль, чтобы он ее не увидел, и смирила себя с мыслью, что теперь ей не скоро уже выбраться отсюда.

– Маракулин – вы! Радкевич – смотрите! – приказал толсторожий и хлопнул в ладоши. После этого он заташил правую ногу щиколоткой на колено левой и, одна на другую, сложил руки на взодранной щиколотке.

– Ты кому-нибудь говорила о том, что задумала? – спросил тот, что был Маракулин, громадный, как кран, в водолазке, наклоняясь к Полине.

– Нет, – сказала Полина каким-то не своим, задушенным голосом, вроде как она не сказала, а вытянули его у нее изо рта клещами.

– А когда шла туда, тебе никто не встретился?

– Нет, никто, – вытянули из Полины голос, и она зажала рот, будто сдернули его на нитку.

Ноздряха выглядывала на них из-за красного своего рояля и все кляла себя, что послушалась, дура стоеросовая, Полину и поперлась за ней. «В космос тебе б полететь еще...» – бормотала она, ущипывая себя в ненависти за кожу на коленке. Но то и дело она забывалась, уставая ругать свою слабость, и открывала, что сидит, смотрит на Полину с этим мужиком, странных людей, Антигону и Креона по имени, представляющих, с отпавшей челюстью.

Она думала, что просидела так-то минут тридцать, но, когда толсторожий, хлопнув в ладоши, сказал: «Перерыв», – обнаружила по часикам «Слава» на руке, что минуло полтора часа. Она удивилась этому и, потеряв осторожность, в удивлении потрясла рукой с часиками, проверяя, не остановились ли, и громко сказала:

– Во пробежало-то!..

Толсторожий, в не успевшей еще заполниться ничьими другими голосами тишине, услышал Ноздюху, повернулся, потянулся своим большим телом в сторону, чтобы получше видеть ее, и позвал:

– Ну-ка, ну-ка! Новенькая?!

Ноздряха, краснея пятнами и в страхе водя глазами по комнате, ища Полину и не находя ее, вылезла из-за рояля и встала подле.

– Что ж вы туда спрятались. Давайте идите сюда, – сказал толсторожий, отваливаясь на спинку стула и снова затаскивая одну ногу щиколоткой на другую. – Приготовили почитать что-нибудь?

– А-а... я... я... – забормотала Ноздряха, перебирая руками по подолу кофты, в которую была одета. – Я... это... чего почитать?

– Ну, чего, чего, – ободряюще улыбнулся толсторожий. – Чего хотите. Что приготовили. Давайте вот сюда, на середочку, чтобы все видели.

Зачем-то подчиняясь ему, Ноздряха пошла на середочку... превозмогла себя – и остановилась.

– Не-е... – сказала она, чувствуя свое лицо как ободранное морозом. – Я это... посмотреть... А это я – не...

Ей было – хоть под землю проваливайся, и она хотела уйти, но толсторожий не пустил ее.

Он посадил Ноздрюху в центре комнаты, на стул за собой и чуть сбоку, чтобы она все видела, но поначалу она ничего не видела от сраму, который перетерпела, и было ей так нехорошо в груди, будто спекло ей там все раствором. Но толсторожий так весело улыбался, оборачиваясь к ней всем своим большим широким телом, так по-простецки подмигивал ей и говорил, мотая головой на Полину с лохматым, допризывного вида парнем между поваленными набором стульями: ««Во дают, а! Каково? – что она мало-помалу осмелела потом и, когда занятия кончились и толсторожий, взглянув на часы, заохал и убежал, подрагивая чемоданчиком, пошла вместе с Полиной и еще целым табуном человек в шесть посидеть в кафе внизу, в подвале Дома культуры.

Тут, в подвале, она стала таскать от буфета стаканы и тарелки, как все таскали, вровень со всеми стала, сердце ее вконец отмякло, и она перестала видеть только себя и на себя только обращать внимание, а стала видеть других, приглядываться к ним и слушать. Она сидела тихо за столом, как мышь у лап кошки, боящаяся шевельнуться, чтобы та не цапнула ее назад острыми когтями, молчала и только слушала, поворачивая голову туда и сюда, и когда все смеялись, то смеялась. Она никогда раньше не слышала таких разговоров и не слышала, чтобы так ловко говорили, приставляя одно слово к другому, будто петлю к петле вязали, вывязывая нужное полотно. В прежней ее жизни, когда сходились за столом, люди выталкивали из себя слова, похожие на вывернутые из земли корявые, уродливые пеньки, и говорили о деньгах, которых не хватает, о начальстве, которое зараза, о том, где у кого блат, а у кого нет, о том, кто сколько килограммов может усидеть, и о бабах – если собирались в основном мужики, а если женщины – о мужиках; когда жила с полковником, так и вообще никаких разговоров не вела – успей с делами управься. А здесь за столом говорили о какой-то биоэнергии, которой будто бы человек переполнен и столько ее в нем, что один академик, когда ложится спать, то цепляет себя на ночь цепью к батарее, чтобы разрядиться, о каком-то экзиселизме говорили и о том, что он уже умер, хотя Камю велик все равно, но Хадегер вот сволочь, потому что был фашист. И еще обсуждали такое понятие, как самовыражение личности, и что под этим, собственно, понимать, и доказывали друг другу, как правильно понимать пьесу, которую они сейчас как раз и репетировали, – «Антигона» француза А-ну-я, с ударением на среднем слоге.

Вообще Ноздрюхе даже в голову не входило раньше, что есть такие дома культуры, куда со всего города сталкивается народ, и не на танцы, чтобы повыкобениваться друг перед другом одежей и бахилами да присмотреть, кого проводить до дому, чтобы убить вечер, а так вот поделаться чего вместе, порадоваться друг с другом и подумать потом всем обществом, как должен человек жить, чтобы жизнь его была ему в радость и в интерес, а не в отбывание повинности. При фабрике у нее в клубе тоже были разные кружки, но там собирались все свои ж девки, что и так десять раз на дню друг другу глаза мозолили, да и как собирались – к Восьмому марта или Первому мая концерт председатель профкома сгонял подготовить, подготовили – и разбежались кто куда. И молодые только ходили, как замуж выскочат – так и ускачут, не вырвешь от мужа, а здесь были и семейные, по кольцам видно, и ровня ей, и старше даже.

Сверху в кафе спустилось еще сколько-то человек, с грохотом присоединили к их столу соседний, уселись, потом пришло еще трое, тоже подсоединились...

Худой, с запавшими вовнутрь серыми, как сухой асфальт, глазами мужчина на дальнем крае стола, давно уже, заметила Ноздрюха, как пришел, все смотревший на нее, вдруг сказал громко:

– А вот я б вас пописал, вот что. Мне ваше лицо нравится. Как вы к этому делу, а?

– Я, что ли? – не поняла Ноздрюха, хотя на нее он смотрел, не на кого другого.

– Вы, – сказал мужчина. – У вас лицо для меня интересное, я вас пописать хочу, не согласитесь?

– Как это? – опять не поняла Ноздрюха, в какой раз нынче краснея, так как все замолчали и смотрели теперь на нее.

– Попозировать, как! – сказал, мужчина, улыбаясь, улыбка у него была узкая, кособокая, будто он насмеялся над собой, и перед Ноздрюхой как полыхнуло: вот она, удача-то. Как ей с Полиной-то вместе – поди-ка она так попредставляйся, нет, не умеет, а посидеть, мордой повертеть – что трудного-то, что не сумеет. И человеку радость доставит, и его о жизни его попытает – вот ей удача-то!

– А я б не против, – сказала она мужчине, тоже улыбаясь, и он, затряся рукой с оттопыренным указательным пальцем над столом, закричал:

– Вот, вот! Вот с улыбкой вашей, вот!

* * *

С этого дня, уговариваясь заранее, Ноздрюха стала ездить «на сеансы». Худого звали Всеволодом – Севоём, ему было двадцать шесть, хотя выглядел он Ноздрюхе ровесником, раньше он работал электриком на заводе, а теперь нигде, писал всякие объявления для Дзержинской овощебазы, возле которой жил, а также афиши для своего ЖЭКа, и на эти деньги существовал. Ноздрюха ездила к нему домой – пятнадцатиметровую комнату в трехкомнатной коммунальной квартире блочной башни, заставленную столами, мольбертом, подрамниками, заваленную бумагой – всегда захлавленной, он усаживал ее против света и сначала работал молча, а потом расслаблялся и начинал говорить.

– На хрен оно мне сдалось, их Суриковское, – говорил он. – Они там только гробят людей, из талантов делают бездарей – это их задача. Они вытравливают талант, сводят его к среднему арифметическому – это называется, они выучили. Я в него не поступал и не буду. В эту студию яхожу – мне нужно техникой овладеть. Я, Глашенька, поздно начал, ах, Глашенька, сколько времени я зря профуркал, если бы ты знала! Но сейчас я зато работаю, я как вол, у меня все это поставлено, я их всех догоню!.. Я же не идиот какой, я понимаю, чего мне не хватает – у них студия на три года, я у них вполне себе рисунок поставил... и все у них возьму, все!.. А ну-ка ты теперь про себя чего расскажи, – просил он.

Ноздрюха не знала, что рассказывать. Он говорил о своей работе, ей казалось, что и она должна тогда о своей, начинала, но Сева обрывал ее:

– А-а! Это мне и так все видно. И так все ясно. Ты про жизнь свою, про жизнь. Как до Москвы жила. Ты откуда?

Ноздрюха отвечала, но рассказывать про ту свою жизнь было ей и скучно, и страшно было забираться туда, в глубь своих прожитых лет, и она отмахивалась, спрашивала его самого про что-нибудь – ей это было интересно, для чего же она и ходила рисоваться-то.

– Вот это правда твоя, так, что ли: выучиться и картины писать, чтобы люди смотрели и радовались? – спрашивала она.

– Радовались... – бормотал он, взглядывая на Ноздрюху и будто мимо нее серыми своими темными глазами. – Чего их веселить. Заплачут если – вот дело.

Работу свою Ноздрюхе он не показывал, завешивал тряпкой и отворачивал к стене.

– Потом, – говорил он, – потом. Еще впереди главное...

По комнате иногда, когда Ноздрюха была у него, моталась патлатая девка, в таких же, в каких Маша работала на стройке, серых дерюжных штанах, именуемых джинсами, только против Маши – как камыш перед деревом, что в груди плоская, что в бедрах, болтала все время, сменяя одну другой, сигаретку во рту; то лежала на диване, читая какую-нибудь книгу, то выскакивала на кухню и возвращалась со стаканами кофе для каждого – ждала, в общем,

когда Ноздрюха уйдет, совалась иной раз к Севе посмотреть, что он делает, и он орал тогда, вздуваясь жилой на шее:

– Потом! Говорю – потом, не ясно разве?!

– А может, потом – суп с котом? – обиженно усмехаясь, загадочно говорила девка.

Она работала машинисткой где-то, звали ее Галей. Ноздрюхе ясно было, что живут они как муж и жена, только ей было непонятно, зачем же это так Галя допускает – поди что случись, куда она? Ей ведь не как Ноздрюхе, ей вроде и двадцати-то не минуло.

В одно воскресенье, когда Ноздрюха уже уходила от Севы, была в коридоре, в пальто и сапогах, и он сам тоже собирался – дохнуть свежего воздуха, проводить ее, в благодарность, до автобуса, в отворенную уже для выхода дверь ввалились к Севе гости – пять человек, одна из них Галя, еще женщина с нею, и трое мужчин. Севу на улицу не пустили, не выпустили и Ноздрюху, она залезла было со стулом в темный дальний угол за шкафом, но просидела она там всего, может, минуту, ее вытащили оттуда и усадили перед стаканом за облитым тушью чертежным столом.

– Это вас, значит, сейчас Севка пишет, – сказал, твердо ощупывая ее глазами, угрюмый мужчина, с головой как заросшей бурными ежовыми иголками, и будто по циркулю выведенным мясистым красным лицом. – Вас, значит, пишет... – повторил он, поднялся из-за стола и пошел в угол у окна, где стоял, обернутый лицом к стене, мольберт с накинутой тряпкой.

– Стой! Не трожь! – закричал, хватая его за плечо, Сева.

– Чего? Мне?! – сказал мужчина.

Сева, кривясь улыбкой, отпустил его, плюнул на пол, погодил и плюнул еще.

– Испортил. Все испортил. Мне теперь на нее глядеть противно будет, – вздувая жилу на шее, сказал он, косясь на ноги мужчины.

Мужчина уже посмотрел картину, оборотя ее к свету, снова завесил тряпкой и, прокорябав по полу, поставил мольберт обратно.

– На кого смотреть? На картину? Или на нее? – показал он на Ноздрюху. – На картину – пожалуйста. А на нее... – Он помолчал, угрюмо посмотрел на Ноздрюху, и Ноздрюха почуяла, как крестец у нее, там, где переходит в ложбинку, враз схватился жарким парком. – А на нее, – сказал он, – разве может противно. Да она ж, посмотри, святая.

Галя захохотала, мотая патлами, упавшими на лицо:

– Ой, не могу! Ну, приемчик!..

Угрюмый, прищурясь, прошелся по ней взглядом, и смех с нее как смыло.

– А-а, Леня... – так же все глядя угрюмому на ноги, сказал Сева, – что... почему тебе... противно на картину?..

– Я не так сказал. – Леня прошел к столу, сел и посмотрел на Ноздрюху. – Много вы, наверно, вынесли. Да? Я вижу.

– Да, – сказала Ноздрюха, тоже глядя на него и мотая согласно головой.

– Не понравилась тебе, Леня, картина, а? – снова спросил Сева, умащиваясь за столом вслед за ним. – Скажи, коль посмотрел, не мучь, ну?

Стол был его, комната его, а вид у него – незваного гостя.

– Талантищу у тебя, Сева, невпроворот. – Леня извлек из кармана складень с обшарпанной круглой деревянной ручкой, открыл и стал отмахивать им круги от освобожденной из бумаги «докторской», без жира, колбасы. – А вкуса недостает.

Других, кто пришел, ни мужиков, ни бабу ту, Ноздрюха и не увидела. Вроде даже как и Севы не было, и Гали его.

День стоял, когда усаживались за стол, а когда поднялись расходиться – уже темень. И по этой темени, в автобусе да метро, да потом снова в автобусе, Ноздрюха поехала с Леньей в его жилище как привязанная, разделась и легла к нему в постель.

С того дня она больше не рисовалась и не ночевала в общежитии, а прямо со стройки, забегая по пути в магазины, стала приходить к Лене. Лене было, почти как ей, тридцать один, он тоже рос сиротой, у бабок, у теток, у дядек, у манек – кто приютит, отец, приковыляв с войны, сделал его и помер, а мать сгинула неизвестно куда на девятом году его жизни, и в четырнадцать лет он пошел работать по разным профессиям, и шорником, и дворником, но учебы не оставил, в шестнадцать лет прикатил в Москву – и застрял здесь, получив прописку и образование, и работал теперь старшим инженером в Институте связи, но на работу не ходил, а сидел дома, думал и изобретал.

Квартира его, состоявшая из комнаты в четырнадцать метров, кухни в пять метров с половиной, прихожей и коридора общей площадью в четыре метра, а также совмещенного санузла, вся была заставлена и завалена всякими железными ящиками с круглыми, полукруглыми, квадратными окошечками, в которых от любого сотрясения прыгали стрелки, всякими коробками, железными и пластмассовыми, тоже с такими же окошечками, какими-то непонятных форм сооружениями, то вроде пушки, то вроде рентгеновского аппарата, только маленького, то вроде какого-нибудь станка, но не станка на самом деле. Он имел восемнадцать единоличных изобретений, девять в соавторстве и два открытия.

Ноздрюха не очень рассказывала ему про свою жизнь, но все же кое-что рассказывала, у него было открытое для чужой боли сердце, и он скрипел зубами на ее рассказы, гладил Ноздрюху по волосам и ругался.

– Сколько тебе вынести досталось... – говорил он. – Это ж надо... не доведи никому. Я на тебя глянул – так и понял сразу... а он... Тьфу! Надо ж додуматься! Талантищу – невпроворот, а вкуса... ну ни на грош!..

Ноздрюха уже знала, он ей еще тогда же, в первый день рассказал, как Сева изобразил ее: в фуфайке и с лопатой в одной руке, а другая рука – стрела крана, и ног нет – а железная ферма крана, и вроде как все это происходит у подножия строящегося дома и где-то на высокой горе одновременно, откуда весь город виден.

– Может, ты напрасно его? – заступалась она за Севу, уводя Леню подальше от ненужного ему нервного разговора. – Может, и хорошо так? Он правду свою в жизни имеет, я таких уважаю.

– И я уважаю, – отвечал Леня. – У него вкуса нет, он себе лоб расшибать часто будет, а так он правильно живет. Талант человека в раба превратить должен, не превратит – ничего человек не сделает, весь талант по ветру пустит.

Сам он состоял в рабах при своем таланте и работал по двенадцать часов в сутки.

Это так, в общем-то, считалось, что он работает дома, но ему надо было и в библиотеке сидеть, чтобы знать все, что кругом него происходит, и за патентами все время следить, и то одно в мастерских вытачивать, то другое фрезеровать, то третье шлифовать или еще что, и бывало, он притаскивался домой, уйдя в восемь утра, к зарождению новых суток, когда Ноздрюха возвращалась со второй смены.

– Это зачем же тебе ухайдакиваться так? – спрашивала она, кормя его ужином среди ночи.

– Иначе нельзя, – отвечал он, шумно и жадно жуя. – Иначе я утрачу форму и не смогу делать, что делаю. Ты знаешь, сколько человек я собой заменяю?

– Во радость-то, – говорила Ноздрюха. – Ты экскаватор, что ли, чтоб заменять-то?

Угрюмое лицо его колелось улыбкой, он притягивал Ноздрюху к себе, гладил и похлопывал ее по бедру.

– В Запорожье вот Максименко, изобретатель такой есть, – говорил он, – я его третьего дня по телевизору слушал. У него пятьдесят изобретений, а ему только сорок подвалило. Ты вот, поди, в газетах читала – науку нынче с техникой большие коллективы вперед движут. Чепуха! Не вперед – вширь. А вперед, вглубь – всегда одиночки. И сейчас, да. Они идеи про-

изводят, они фундамент закладывают, а коллективы что – разработчики. Убери одиночек – встанет все, мертво будет. Вот, я о Максименко. Он одну проблему решил, над которой целый проектный институт сидел, триста человек.

– Это как же он, – удивлялась и не верила Ноздрюха, – один за триста работал?

Ленино лицо снова колосось короткой улыбкой.

– Зачем? Он за себя работал. Ему такое дано – сразу все увидеть, что они только по частям сложить могут. У Эдисона, Глаша, который нам телефон с граммофоном подарил, порядок был: каждые десять дней – изобретение. Десять дней – изобретение, десять дней – изобретение. Максименко против меня легче – у него дом собственный, в сарае у него там два станка стоят, а мне, чуть что, мотайся в институт... Я, Глаша, – брал он ее за руку, усаживал против себя на табуретку, глядел ей в глаза и вздыхал с хрипом, – очень порой устаю, кажется порой, не голова, а отбойный молоток у меня на шее...

– Так зачем же так-то? – чуть не ревя, спрашивала Ноздрюха. – По-другому-то нельзя, что ли?

– Нельзя, я уж отвечал, – говорил он. Он уже был сыт, ленив движениями и вял речью. – Человек должен максимально реализовывать заложенные в него природой возможности.

Ноздрюха тоже вздыхала.

– А ежели у человека нет их?

– Тогда помогать, значит, – отвечал он, – служить. Найти идею, приткнуться к ней и служить.

Он вставал с табуретки, шел в комнату и, не раздевшись до конца, валился на кровать. Ноздрюха мыла посуду за ним на кухне, гасила свет и, придя в комнату, раздевала его и укрывала одеялом. Потом она ложилась подле, чувствуя своим начавшим стареть телом тепло его налитых свинцовой целеустремленностью мышц, и лежала так, греясь и млея от долго незнаемого мужского духа рядом, думала о том, как ее и куда понесет дальше жизнь, и ничего не видела впереди – не знала.

Был март, когда она, по ночной темени, пришла к Лене в его жилище впервые, минули апрель, и май, и июнь, лето уже стояло, и солнце днем пекло – хуже нет, если попадешь работать на солнечную сторону, испечешься, как на сковородке, и Ноздрюха свыклась со своим новым положением и уже не прислушивалась ко всем окружающим, не лезла ко всем с расспросами, не совала нос в чужие заботы, тайны и радости, жила подле Лени, как жила с прежними своими мужьями, только с ними она состояла в законном браке, а с ним, объяснила ей к случаю бригадирша, просто, как это называется с юридической точки зрения, вела общее хозяйство.

* * *

В августе, перед сентябрем, проводили на учебу в театральный институт Полину. Собрались на кухне, распилили пузатую, в пластмассовой зеленой оплетке бутылку «Тракии», умяли по заведенному порядку две сковороды жареной картошки, достали затем торт, нарезали и хлебали с ним чай.

– Ну, ты, Поль, не забывай нас, смотри! – говорила Маша, тугой, комкастой глыбой в синем полинявшем тренировочном костюме наваливаясь на Полину с объятиями.

– Ну что вы, девочки, что вы, конечно! – отвечала Полина, смеясь, она была накачана счастьем, как велосипедная шина воздухом. – Как можно! Такой год трудный, и так мне с вами хорошо было.

– А, забудешь! – махала ложкой с прилипшими к ней кусками крема Надька, крем срывался и шмякался на стол, в чай кому-нибудь. – Завтра же и забудешь. Нужны мы ей! – говорила она, обращаясь уже к Маше. – Вон Ноздрюха-то, – снова махала она ложкой, И ошметок крема шлепался на Ноздрюхин кусок торта. – Нашла своего придурка-то – так мы и видим ее.

Делясь своей жизнью, Ноздрюха рассказала как-то, чем он занимается и сколько он работает, и Надька с той поры иначе, как придурком, Леню не называла.

– Я к тебе что, чулки твои стирать приходится должна, что ли? – спросила Ноздрюха.

– Трусы – лучше б, – сказала Надька и захохотала.

– Да ведь не о том речь, чтобы приходиться, – подала голос Дуся. Как всегда, она тихо и кротко сидела за столом, первая подавала, первая убирала, сидела – и незаметно ее было. – Просто чтоб не забывала, помнила, чтобы мы в ее памяти были. Так ведь, Маш, ты об этом? – спросила она Машу.

– А еще как? – снова с любовью тиская Полину, сказала Маша. – Что, в самом деле, чулки Надьке стирать приходится?

– Не гонять нам уже с тобой чай, Поля... – говорила Ноздрюха.

– Не гонять, – отзывалась Полина. – Да уж давно не гоняли ведь.

– Давно... – вздыхала Ноздрюха.

Ей было грустно. Уходил вот из ее жизни человек – в другие жизни, в другие знакомства, и сразу от этого, все равно как в тихую, без движения, ни туда ни сюда, речку бросишь щепку – колыхнет ее и понесет, закружит, потащит... ясно сразу ощущалось – бежит время, убывает. У нее это бежит-убывает, у других – наоборот, у них прибывает, глядишь, по телевизору потом Полину-то смотреть станешь, а кто-нибудь сейчас в космонавты назначен, глядишь, полетит скоро – экое ж у них счастье-то: в космос полететь, на цельную Землю, как на мяч какой, посмотреть...

И так грустно было ей дня два или три, но она скрепила себя, уговорила Леню пойти после ее дневной смены в кино, а потом они зашли в кафе под названием «Сардинка» напротив лупоглазого нового здания ТАСС у Никитских ворот, и печаль после этого ее оставила.

В октябре на перевыборном собрании Ноздрюху выбрали проффоргом.

– И че ж это я делать должна? – пробовала она выпытать у выдвинувшей ее на эту должность бригадирши.

– Что надо, – непонятно отвечала бригадирша. – Поперву взносы вон собери, по три месяца не плачено.

Со взносами у Ноздрюхи шло туго. Не платила сама же и бригадирша, и приходилось в аванс или получку подлавливать всех поодиночке у кассы. А вскорости стало ясно, что еще делать, кроме как собирать взносы. В бытовке в обед бригадирша собрала всю бригаду и стала объявлять с написанной ею бумаги порядок отпусков. Перед тем, за полчаса, она сзади подошла к Ноздрюхе, красившей на карачках подоконный проем с навешенной уже батареей, так что, кроме как на карачках, с самого низу подобраться к нему было и невозможно, постелила на пыльный подоконник четвертушку газеты, а сверху положила эту самую бумагу.

– Когда в отпуск-то пойдешь? – спросила она, стоя над Ноздрюхой.

Ноздрюха, крикнув, разогнулась, поднялась и заглянула в бумагу.

– Не знаю, – сказала она, отправляя под косынку выпавшие на лоб волосы. – Как-то мне вроде и ни к чему пока. Не устала вроде.

– У тебя еще и за этот год отпуск не отгулян. Значит, в декабре тебе на будущий – как раз, – ткнула бригадирша рукой в бумагу. – Подписывай. – И дала Ноздрюхе шариковую ручку.

Ноздрюха подписалась внизу, где под словом «Бригадир» и закорючкой бригадирской подписи стояло слово «Профорг», и отдала ручку.

– Все, че ли? – снова готовясь встать на карачки, спросила она.

– Угу, – буркнула бригадирша, не трата больше на нее слов.

Бабы начали шуметь, когда она еще читала, а когда кончила, ор поднялся – в пору лопнуть барабанным перепонкам.

– А кто спрашивал? Кто спрашивал? На что мне февраль-то, а? А желанья что, не учитываются? – кричали бабы.

– А сама-то снова летом, третий уж раз, а ну-ка сама-то на зиму, а?

– На кой фиг мне ноябрь, мне на май надо, я весной не ходила – имею право.

Бригадирша дождалась, когда все наорутся, и хлопнула рукой по столу.

– О! – сказала она, широко разевая рот. – О! Расхайлались. Колхоз развели. Деревню.

Отпуска – дело государственное, государственный интерес соблюди, а потом об остальном толкуй. Я одна, что ли, составляла? Во! – подняла она бумагу, оборачивая ее лицом ко всем. – С профсоюзом вместе. Во, видите подпись. Ну, чего молчишь, Ствольгина, – посмотрела она на Ноздрюху. – Твоя подпись?

– Моя, – сказала Ноздрюха.

– Вот. А вы шум подняли. Кто там ноябрем недоволен? Ну, меняйся с кем, кто тебе май отдаст?

– А что мне зиму опять, а себе-то опять лето? – закричала Паша Солонкина, та, что и раньше кричала про лето, но закричала теперь потише, да и не то чтобы закричала, а громко просто, с возмущением сказала.

– Март что, зима, по тебе? – осадила ее бригадирша. Помолчала, обведя всех взглядом, и заключила: – Причины у кого значительные будут, пересмотрим. Не одной меня воля. Во, – снова потрясла она в воздухе бумагой, – с профсоюзом вместе.

– Что ж ты, Глаша, обойти нас да поспрошать не могла? – упрекали после Ноздрюху бабы. – Что ж ты у ей на поводу пошла? Ты ж наши интересы защищать должна. А она вон опять летом, и все летом.

– Я ведь не знала, я впервой, я теперь знать буду, – оправдывалась и винулась Ноздрюха.

Но и дальше у нее не пошло. Не выходило у нее ни достать путевку кому, ни на ковры выбить три-четыре местечка, когда в профкоме производили распределение, ни поездку в какой-нибудь Суздаль там для бригады организовать – не было у нее на это способностей.

– А ведь другая-то вот бригада съездила в Суздаль-то этот, – жаловалась она на свое неумение Лёне в редкие его минуты свободного времени, за столом в ужин или перед постелью. – И на пароходе они ездили, к Есенину-то, в Константиново, и в Суздаль вот, с монтажниками вместе. А мы никуда. А так уж бабы мои хотели, и уж я-то... просила ведь ходила – а нет. Не так я прошу, может?

– Не так, не так, – улыбался Леня, и от редкой его этой улыбки все у Ноздрюхи внутри так и млело. – Не так, конечно, нет у тебя на это таланта. Не твое это дело, и братья нечего было.

– Я думала, я общественной деятельностью займусь, мне интереснее жить станет... – потерянно, будто она была обижена на себя, говорила Ноздрюха.

– Ах ты, простота ты моя святая, – угрюмо прижимал ее к себе Леня, заглядывая в глаза, отведя на мгновение, и снова прижимал. – Прос-то-та... – тянул он по слогам. – Хорошо, пошел я тогда к Севе. Не пошел бы – не увидел тебя. Я ведь, знаешь, редко куда хожу.

Ноздрюха знала. Год уж почти вместе был прожит.

Но хотя они никуда и не ходили, ей хорошо с ним было; что в том, что ходить куда-то, не в этом счастье, в человеке счастье...

И когда они вот так вот сидели с Леной однажды – снова уж май был в природе, тепло, балкон у них растворен в чернеющие сумерки, и за спиной чайник сопел, вскипая, а они ждали его, уже поев, чтобы похлебать чайку перед сном, – Леня сказал, присаживаясь перед Ноздрюхой на корточки, спиной к балкону, беря ее грубые руки, испорченные морозом, раствором, красками и бензином, которым она мыла их, в свои большие, как лемеха лопат, бугристые твердые ладони:

– Давай-ка, Глаш, поженимся, а!

Он нежно сказал и мягко, а Глаше показалось, будто он не сказал, а под дых ее ударил, и она поперхнулась воздухом, так как делала как раз вдох, и зашлась кашлем. Она откашлялась и не стала отвечать ему, он подождал и, не дождавшись никакого ответа, повторил:

– Я говорю, поженимся давай, Глаш?!

Ноздряха поняла, что надо отвечать, посилилась сказать слово, какое хотела, но ничего не сказалось.

– Гла-аш! – позвал Леня. – Что, не хочешь?

Ноздряха повела плечами, сглотнула слюну и, кривясь в сторону рта, чтоб не зареветь, выговорила:

– Боюсь я, Леня...

– Чего боишься-то? – Леня погладил ее руки, прижался к ним лицом, побыл так немного и поднял голову. – Ну, чего?

– Что умрешь, – обрывающимся шепотом сказала Ноздряха и опять осилила себя – не заревела.

Леня как сидел, так и остался сидеть, молчал, и руки у него, почувствовала Ноздряха, стали леденеть.

– Да уж... чепуха-то какая! – сказал он потом, вставая и поддергивая штаны. – Что за чепуха-то?! – возвысил он голос. – Скажешь тоже! Не понимаешь, что говоришь?

– Понимаю, ой, понимаю!.. – не имея больше сил удерживать себя, зарыдала Ноздряха, вскочила, побежала в комнату и бухнулась там на кровать. – Ой, понимаю, ой, понимаю!.. – только и говорила она потом, лежа на кровати лицом вниз и затыкая углом подушки себе рот.

А Леня сидел рядом, тяжело продавив пружины, молчал и только то и делал, что гладил ее по плечу.

Больше меж ними разговоров об этом деле не было, ни он не заводил, ни Ноздряха, так и жили, как жили, и так же все было Ноздряхе хорошо. У Лени было уже двадцать три индивидуальных изобретения, одно из них оказалось у него – смех, да и только – детской игрушкой, на заводе каком-то быстро ее освоили, и Ноздряха, зайдя как-то в магазин «Детский мир» на площади Дзержинского, с памятником самому Дзержинскому в центре, купить Лене новый набор слесарного инструмента, видела, как люди давились в очереди за его игрушкой – чуть до драк не доходило.

Так минула еще одна весна, настало лето, и тут к Ноздряхе снова пришла беда.

* * *

Она знать не знала, что это беда – Леня поехал в командировку, какая ж беда тут. Он и раньше раза два выезжал – ему на месте где-нибудь нужно было кое-что собственным глазом глянуть, собственными руками пощупать, так и в этот раз поехал. Но он уехал – прошла неделя, две, три... месяц прошел, ему давно уже вернуться следовало, а он не возвращался, и не было вестей от него. Ноздряха уже лезла на стену, съездила к нему в институт, но кто о нем что мог сказать – Леня сам себе был хозяин.

А когда еще отбухала неделя, Ноздряха выцарапала в управлении три дня за свой счет, купила билет на самолет и полетела в город, куда уехал Леня. Долго она его не искала – нашла во второй гостинице, и когда она поднялась на нужный ей третий этаж и постучала в нужную комнату, сам он ей и отворил дверь.

– Г-гла-аш... – заикаясь, сказал он потерянно, не стремясь к ней, а вроде как наоборот – боясь, что она бросится к нему на шею, и потому медленно, словно он это в воде делал, отступая от нее.

А Ноздряха стояла у порога, дышала, как загнанная, и слова из себя не могла вытолкнуть. Живой был Леня и здоровый – это уж знала, когда к номеру бежала, видели его нынче утром, – а коль живой и здоровый, но ни разу о себе вести не подал, баба сюда замешалась, значит. Ноздряха уж и раньше, в Москве еще, думала об этом, но не верила, а теперь вот удостоверилась.

Она постояла, постояла на пороге, глядя вниз, на ноги Лене, как они, в расшитых красными нитками тапках, которые она купила ему к Новому году, медленно идут от нее, повернулась и побрела по коридору обратно к лестнице.

Она вниз уже сошла, в холл с пальмой и фикусом, к загородке администратора, когда Леня нагнал ее.

– Т-ты... к-куда? – снова заикаясь, спросил он, застегивая пляшущими пальцами пуговицы на подоле рубахи поверх тренировочных штанов. – К-куда, Глаш?

Она постояла подле него молча еще немного и потом спросила, сжавши себе волей обливающееся криком сердце:

– Влюбился, что ль?

Леня уталкивал застегнутую рубаху в штаны, остановился с засунутой наполовину под резинку ладонью, а другую руку свесил вдоль туловища.

– Не так... – сказал он, чернея своим угрюмым лицом и опуская глаза. – Не так, Глаш, нет... Мне, Глаш... я сюда со страху уехал... от тебя... В Москве там... я делать чего, не знаю...

Они поднялись обратно к нему в номер, и Леня все ей рассказал, и Ноздряха думала, что ляжет сейчас на кровать и обретет всю подушку, как тогда, когда она за него замуж выходить отказалась, но сердце у нее будто пересохло враз – ничего из глаз не бежало.

Так оно, поди, и должно было все случиться. Хоть бы даже и обпечатали их – все бы так. Может, душа его и просила ее, старую и поувеченную, но тело его хотело молодую и здоровую. И может, тело не требовало оставить после себя на земле свое подобие, но душа не могла противиться взошедшему в ней с возрастом искусу. В чреве чужой его душе женщины вызревала рожденная в слепой страсти родная ему, из его семени проросшая плоть – и он не мог противиться желанию благословить ее на жизнь, на продолжение своего рода.

– Звонит, значит, что ни день, спрашивает, то ли дальше носить, то ли к врачу идти... – сказала Ноздряха после молчания, когда он рассказал ей все и они просидели напротив друг друга, ничего не говоря, может, пятнадцать, а может, двадцать минут.

Он не ответил, потому что он все уже сказал и ясно было – не для ответа спрашивает Ноздряха, и она вздохнула, встала со смятой кровати, на которой сидела, и сказала:

– Собирайся, поедем. Че ж здесь сидеть, прятаться. Поедем.

К вечеру они уже были в Москве. Ноздряха собрала свои вещи, Леня, стороня от нее глаза, снес их и разместил в сподручном для таких дел такси-фургоне, и Ноздряха отправилась обратно в общежитие, из которого уехала два с лишним года назад и где все эти два с лишним года в квартире на восьмом этаже числилось за ней место.

В квартире из прошлых ее соседок оставалось двое – Надька да Дуся, Маша нынче весной вышла замуж за крановщика из их же управления, они теперь снимали где-то комнату, ждали ребенка и собственную жилплощадь.

И Надька, и Дуся, обе по вечерней поре были дома, и Надька, увидев Ноздюху с чемоданами, захохотала.

– Что, отставку дал академик-то? – закричала она. – По себе, дуреха, дерево надо рубить.

Ноздюха не ответила ей, перетаскала с вахты, в подъезде внизу, все, что привезла, затолкала что под кровать, что возле кровати оставила, что на стулья свалила, легла, не разобрав постели, прямо сверху одеяла, и пролежала весь вечер, всю ночь и весь другой день до вечера, вставши за все время два раза в туалет – когда уж подпирало, может, и дальше бы лежала, но вернувшаяся со смены Дуся подняла ее, накормила и вывела гулять в теплый еще, но уже с примешанной ночной прохладой у земли вечер.

– Вот и все, – бормотала Ноздюха, шаркая подошвами туфель по пыльному асфальту проложенных между домами там-сям, вкривь-вкось дорожек. – Вот и все... все...

Дуся молчала, идя с нею рядом, поддерживая ее под локоть; она и без того была молчаливой, а потом, она понимала, что Ноздряха это не для нее говорит, а с самою собой и вовсе не ждет от нее никакого ответа.

– Вот и все... – бормотала Ноздряха.

Но это она не про Леню бормотала, не его она имела в виду.

Она посидела еще день в общежитии, отгуляв таким образом отпуск, взятый за свой счет, вышла на работу и, проработав неделю, подала заявление об увольнении. Ее не отпускали поначалу, так как рабочих, как всегда, в управлении не хватало, а она, кроме того, числилась в хороших рабочих, потеряли даже ее заявление, чтобы она устала ходить по кабинетам и бросила бы свою затею, но она подала заявление во второй раз, погрозилась и в третий, если что, – и ее отпустили. Она отработала положенные две недели, получила расчет и купила билет до родного города. За три почти года в Москве у нее накопилось на книжке семьсот двадцать три рубля и восемьдесят четыре копейки, она перевела книжку на аккредитив, а на деньги в кошельке накупила для Нюрки Самолеткиной и других баб всяких московских подарков – всяких помад, да лаков, да косынок, да домашних тапок с узорами.

В городе у нее совсем уже была осень, когда Ноздряха приехала в него. Она тащила с двумя чемоданами со станции к своему простоявшему три года нежилым дому, навстречу ей дул ветер, мел оборванные с деревьев, скоробившиеся от собственной сухости листья, и ей казалось, будто никаких трех лет и не проходило, не было их вовсе, все это та же, трехлетней давности, стоит осень... только шла она не на станцию, а с нее.

Доски, которыми она заколачивала окна, были сорваны, ставни на половине окон открыты, а в одном выбито стекло и заставлено фанерой. На двери доски сохранились, она отколотила их, достала из кармана пальто пролежавший три года без употребления на дело ключ и открыла дом. Она прошла по нему, оставив чемоданы в сенцах, – все в доме было по-прежнему, только на кухне кто-то, может быть разбивший окно, поковырялся в полках, и на полу лежали осколки раздавленных стаканов и тарелок, а так все было, как она оставляла, ровно и в самом деле не случилось этих трех лет в Москве.

Ноздряха вышла обратно в сенцы, разделась, повесив пальто на гвоздь рядом с солдатским бушлатом для ночных дел, хотела взять чемоданы, чтобы занести их внутрь, подняла, и тут у нее, впервые с того, как услышала от Лени в гостинице те слова, стало мокро в глазах, она опустила чемоданы обратно, и слезы побежали у нее, как вода из крана, она села на пол возле чемоданов и проревела, с хрюпом глотая взбухавший в гортани воздух и скуля, целых полчаса. Ей хотелось по старой памяти, чтобы рядом с нею был сейчас Браслет, который бы подскулил ей, примостился бы рядом, лизал бы ей, за неимением в себе другой ласки, лицо, и тепло бы от его толстого большого тела перешло бы в нее. Но Браслета давно уже не было в живых, и мыло, сделанное из него, давно уже, наверно, ушло пеной в сточные воды...

Потом Ноздряха встала, снова оделась, не занеся чемоданы внутрь, и пошла на бывшую свою фабрику. В отделе кадров прежнего начальника не было, сидел другой, и секретарша у него тоже была другая. Ноздряха написала заявление, ее оформили – и все, обошлось без всяких расспросов, но когда она вышла от них и пошла по коридору, чтобы сойти в цеха, навстречу попался Валька Белобоков, тогда, на праздновании Первого мая в клубе фабрики, направивший ее в Москву.

– О! Кого я вижу! – заорал он, расставляя ручищи и загораживая собой весь проход коридора. – В отпуск пожаловала, жительница столичная?

Ноздряха остановилась и тоже улыбнулась ему.

– Нет, – сказала она. – Я насовсем. На работу устраивалась, ходила вот.

– О! Это дело! – трясся ее за плечи и сжимая их так, что Ноздряха даже запищала от боли, сказал Белобоков. – Молодец! А то что за порядок: на фабрике на самой, понимаешь, людей не хватает, а они по столицам разъезжают!..

– Приехала вот... – не стала напоминать ему, какие слова говорил он ей на праздновании Первого мая, Ноздряха.

– Я и говорю – молодец! – воскликнул Белобоков и пошел дальше по своим важным и неотложным делам.

А Ноздряха спустилась в цеха, походила между станками, узнавая их грохот и работу, много было незнакомых лиц, а кого встречала знакомых, приглашала назавтра в гости. Нюрки Самолеткиной нигде видно не было, она наконец спросила о ней, и Ноздряхе сказали, что Нюрка два уж года как вышла замуж за сверхсрочника, родила, нынешнее лето часть его перевели на Север, и Нюрка уехала вместе с ним.

Ноздряха пошла домой по осенним улицам родного своего города, в котором родилась, выросла и, за малым вычетом, прожила всю свою жизнь, какая была прожита, стала растворять окна, прибираться, мыть, вытирать пыль – облаживать дом заново к жилью, и думала она о том, что, ежели так покопаться-то, разобраться-то если, не особо у нее вовсе плохая жизнь, не особо, нет, самая обыкновенная. А уж есть, конечно, кому и счастливее выпадает – в космос вон летают, – так то что ж... Главное, чтоб товарищи из Политбюро от войны охоронили, хуже-то войны ничего нет, а охоронят, да мир будет – вот и счастье, живи-радуйся, чего еще.

Поездка

Квартира молчала. Звонок сверляще вонзался в немоту, обитую вспухшим от слоя ваты, коричневым когда-то, белесым теперь дерматином, и, когда жена отрывала руку от кнопки, пронзительный дробный звук его, казалось, некоторое время еще висел дрожащим металлическим прутом в этой не заполненной ничьим живым присутствием пустоте и медленно покачивался, истаявая. На желтой сыпучей штукатурке возле кнопки было выцарапано карандашом: «Маруся, жди. Скоро вернусь». Маруся была женой кавторанга, и эту надпись она читала полгода, а может, и год назад.

– Не тащить же их обратно, – сказала Елена, глянув на чемодан с портфелем, потом на Андрея, пожав при этом быстро плечом, будто он был виноват, что квартира молчала, и как виноватый должен теперь что-то предпринимать.

Он, не отвечая, подержал ее взгляд, повернулся и, сделав два глухих в крошащемся цементе шага, позвонил в соседнюю дверь. Тут же там с рассыпающимся грохотом обвалилось что-то, зазвякало, стихло – и дверь отворилась.

– Мы до вечера, – суетливой почему-то скороговоркой говорил Андрей, впихивая в узкое коридорное пространство между громадным тесовым ящиком и могучим славянским шкафом чемодан с портфелем. – Мы до вечера, не дольше, вы не беспокойтесь – к вечеру Анатолий Васильич придет, Мария Петровна... мы возьмем. Мы договаривались, но, видимо, что-то произошло срочное...

– В плаванье Анатолий Васильич, – слепо поглядела на него молодая баба в стиснутом обеими руками за расходящиеся полы сатиновом синем халатике, под которым – въявь это ощущалось – ничего не было, и она вся рвалась обратно, за притворенную дверь, незримое присутствие мужчины за которой как бы свирепо укоряло Андрея с Еленой за грех нарушения свершавшегося таинства.

– А... а Мария Петровна? – не удержалась жена.

– Она не моряк. Ей некуда плыть, – обрезала незваную-непрошеную баба и вдруг всколыхнулась: – Вы ж договаривались?!

«Воры, убийцы, награбленное прячут, от милиции скрываются!» – плеснулось в ее застойных, как противопожарный деревенский пруд, зеленых глазах.

– Договаривались, договаривались, – спиной выталкивая жену из квартиры, заслоняясь ладонями, закивал Андрей. – Но нет ее, неужели надолго исчезла? – вот жена моя чем интересуется. Но мы знаем, в общем-то, что ненадолго, не может надолго – мы вчера из Москвы договаривали с ней, условились встретиться. А это жена на всякий случай... конечно, не моряк Мария Петровна, – тут он пустил смешок, все такой же суетливый, мелкий, – что вы! Мы сами знаем...

Ни с кем они не договаривались – жена, точнее, не договаривалась, потому что если бы делать это, то должна была бы делать она – ее ведь родственники; и не просто не договаривались, но и вообще жена не видела единокровного своего брата лет восемь, а Андрей лишь слышал о нем раза два от нее. Но баба стояла перед ними вся в озлоблении и ожидании, ей некогда было вникать в интонации, она удовлетворялась смыслом, замок за ними металлически хлопнул треугольным остреньким своим язычком, и за дверью уже, снова стоя на крошащемся цементе лестничной площадки, они услышали жаркое, торопящееся, трепещущее шарканье ее тапок по коридору обратно в комнату.

– Молодчага! – сказала жена, и они стали спускаться вниз, в ослепительный белый проем подъездной двери с серым куском асфальта, зеленой изгородью чахлого газона, перевернутой вверх ножками садовой скамейкой в этом газоне. И по мере того как они спускались, верхний обрез проема поднимался все выше, открылась противоположная сторона газона, про-

ехала машина за ним, беззвучно пронесся через вырез света в подъездных сумерках свое литое послушное тело, открылся неоштукатуренный, угрюмо-красный кирпичный фундамент дома напротив, оббитый карниз, окна первого этажа, второго – все быстрее, быстрее, и совсем уже с неуловимой быстротой рванулось в глаза небо, резанув своей сияющей ликующей синью, и открылась вся улочка, с газоном посередине, одним своим концом уходящая в зеленую далекую неизвестность, другим – через три дома – кончаясь в своей более удачливой, под прямым углом ее пресекавшей сестре.

Они машинально пошли обратной дорогой, свернули за угол, в сторону метро, и тут спохватились.

– Ну, и что делаем? – угрюмо спросил Андрей, как бы мстя самому себе за недавнее резвое многоречие. – Я, скажем, жрать хочу, подыхаю.

– Я невкусная, – сказала жена, поднимая к нему свое бледное, с высиненными веками лицо, и засмеялась освобожденно – чемодан с портфелем были пристроены, руки пусты, и сами они, значит, свободны, – и, шутя, как бы извинялась она за капризный, раздраженный свой тон там, в подъезде. – Может, найдем что-нибудь посьедобней? Ой, хочу персиков, купи персиков! – перебила она самое себя, не дав отмякнувшему враз сердцу Андрея выразить это чувство в словах.

Персики выносились в яичной желтизны лохматившихся ящиках с вылезавшими меж досок крутыми завитками стружек из узкого черного небытия двери, служебного входа в магазин, ящики с грохотом укладывались один на другой у ноздреватой стены в мельчайшей ряби теней от острых холмиков навек когда-то застывшей штукатурки, а на пошатывающемся, с тощими алюминиевыми ножками столике справа и слева от болтающих резиново туда-сюда стрелкой весов стояли два ящика открытых, и черные, мохнатые руки продавца с толстым сырым лицом, с аппетитно круглившимся под влажно-рубиновой губой, похожим на розовый целлулоидный шарик подбородком, одетого лишь в одну с короткими рукавами белую куртку, прогуливались по распластанным на соломенной подстилке рядам охристо-палевых плодов, ухватывали подгнивший и отправляли броском куда-то вниз, под стол, казалось почему-то – в прохладную, сыроватую темь. Но еще он не торговал, считал ящики и с сатанинской некой благосклонностью оглядывал иногда темно-воловьими глазами накапливающуюся к нему очередь.

Резко так все и отчетливо было от солнца, бело пронзившего день жаркими струями фотонов, и все: улица в вялом колебании листвы редких на ней деревьев, дребезжащем громыханье трамвая, сухом шелесте кругом идущих людей, сам этот красный дергающийся трамвай, сами эти сухо шелестящие подошвами туфель, босоножек, сандалий, складками платьев, рубашек, брюк, юбок, сумками об одежду люди – казалось бесплотным, прозрачным, истаивающим под раскалившимся, обезумевшим солнцем, лишь тени были материальны и осязаемы – в них становилось, когда попадешь, прохладнее.

Они встали в очередь, и руки жены кругло взяли Андрея у локтя.

– И с чего это ты хочешь персиков? – сказал наконец Андрей то, что – не словами, а интонацией – означало принятие им мира.

– Ужасно! – сказала жена, прижавшись плечом к его руке, не на слова, а на интонацию отвечая, снова засмеялась, подняв к нему лицо, зажмуривая глаза, и он тоже хохотнул довольно – теперь и лягушек ей вдруг захочется!

Темно-воловыи глаза продавца, оторвавшись от нового, с мягким грохотком опустившегося на кучу ящика, с ленивым интересом обласкали их и уплыли дальше, ничего не заметив.

– Но это не я хочу, – сказала жена, продлевая удовольствие приятного ей разговора и продолжая улыбаться тайной, вглубь себя, но ему понятной, улыбкой. – Это он. – И легкий кивок головы, едва заметное движение подбородка вниз, на живот. – Я ни при чем.

– Неужели? – все с той же иронией покачал головой Андрей. – А кто их будет лопать?

Грузчики, обхлопав косяк белесо-черными полами халатов, закрыли дверь, зияющая пропасть таинственной черноты с металлическим взвизгом ухнула в самое себя, сменившись осязаемой облезлостью коричневой масляной краски и вылощенной до костяного блеска длинной деревянной ручкой на ней. Продавец, смутно показывая кофейный всплеск соска в лохматой черноте груди, наклонился над товарной чашкой весов к первому покупателю – осадистому рыхлому старику с пористым тяжелым носом и в полотняной кремовой кепке:

– Сколько вам?

Старик брал полкило, женщина с толстыми складками шеи над цветастым обрезом платья – кило, мальчик в белой майке и голубых трусах тоже кило, кило брали две свеженькие, только-только вступившие в начальную пору юности девочки в джинсах – все брали кило или полкило, а они взяли полтора.

– Приятно полакомиться! – наклоняясь над чашкой весов, обещающе сияя голосом, будто рядом с нею никого и не было, сказал продавец жене, и она, не отойдя и десяти шагов, вытащила из бурого, тоже лохматившегося кулька персик, вытянула у Андрея из заднего кармана джинсов платок, обтерла пушистую седоватую обивку плода и стала есть, вытягивая шею, держа персик двумя пальцами, большим и указательным, а остальные топыря. Сок тек по ним двумя прозрачными ленивыми струйками, губы у нее словно вспухли, обмазанные желтой тающей мякотью.

– А-ах! С ума сойти, – чмокая, обгладывая, обсасывая косточку, в восторге плотоядия выговорила она. – С ума сойти, какое наслаждение!.. Бери тоже, тают прямо!

Он взял, повертел подпаленный сбоку персик в руке – под тугой, натянутой кожей ощущалась податливая беспомощная мякоть – и опустил обратно.

– Я хочу кусок мяса. Или два куска. Или три. Мяса!

– Пошли обратно. – Жена свободной рукой взяла его под локоть, повлекла вокруг себя, разворачиваясь. – Там есть чебуречная, напротив, наискосок. Я видела.

Они пошли обратно, свернули в прежнюю улочку, в куцую ее зелень, в гвалт голубиной стаи, сизо отпрянувшей от земли в брезентовом плеске крыльев при их приближении, прошли мимо перевернутой скамейки – мелькнул справа черный проем знакомой двери, прошли мимо перевернутой цементной урны с языком высыпавшегося мусора («Порезвилась молодежь ночью», – обронил Андрей), прошли еще немного, и слева меж крон деревьев выглянула вывеска: ЧЕ-БУР-ЕЧН-АЯ.

Чебуреки были не московские – кофейно-белесые, плоские как блин, лишь в середине нижнего края топырившиеся катышком мяса, – а желтовато-белые, треугольные, какие-то все встопорщенные, и не два на порцию, а три. Андрей взял девять штук. Елена сидела за столиком у окна с двумя стаканами компота, с двумя салатами, купленными в буфете, смотрела, полуотвернувшись от зала, в окно, утопленное в неистовом слепящем свете, овално светившаяся по краю щека ее была подперта ладонью, пальцы трогали, перебирали распущенные и заброшенные за спину волосы, и какое-то щемящее чувство любви, нежности вот к этому мигу их жизни, пока он шел от стойки к столику, невозвратности, невозможности его продления и закрепления в себе владело Андреем, но, когда он поставил поднос на стол и жена повернулась, отняла руку от щеки, оставив на ней розовый истаивающий след, стала помогать снимать тарелки, чувство это исчезло, и момент его исчезновения был так же неуловим, как миг возникновения.

– О-ох, нажрись! – сказал он, бросая пустой поднос на подоконник, чтобы не уходить, не отрываться уже от влажно дымящихся, горячих даже на взгляд чебуреков, сел и, не придвигая далеко стоящего стула, почти пополам сложившись, стал есть, торопясь, обжигаясь, дыша открытым ртом, чтобы студить жар только что, еще минуту назад варившегося в кипящем масле теста.

– Придвинься, – с улыбкой сказала жена, и лишь тогда он нашел в себе силы придвинуть стул, сесть расслабленно и поглядеть на нее. – С тобой ведь стыдно в приличном обществе показаться, – все с той же улыбкой сказала она.

– Надо бы, между прочим, прежде чем тащить мужа в свой Ленинград, покормить его было хорошенько. А то платья в чемодан напихать не забыла, а мужу перед дорогой каких-то два тощих бутерброда сварганила. И живи на этом.

– Я же не виновата, что у тебя аппетита не было.

– Виновата. Заставила меня чемодан свой укладывать...

– А у тебя это лучше выходит.

Так, под вялую шутивную перебранку они прикончили чебуреки, съели салат, выпили компот и вновь оказались на улице.

– Пойдем пешком, – сказала жена. – Мы сейчас на Васильевском острове и вот прямо по улице выйдем к Ростральным колоннам, к Неве, Невская стрелка называется. А там по мосту – и будет Зимний дворец, Эрмитаж в нем, знаешь? А там Дворцовая площадь, Невский, Адмиралтейство, памятник Петру – все рядом. Нет, ну как ты жил? всю жизнь в шестистах километрах – и ни разу не побывать!

Они шли по аллее, в сторону Невы, солнце светило в глаза, нагрело головы, они были свободны, праздны и вольны, и от этого все вокруг: пыльные окна домов, пыльная листва, пробегающие по обеим сторонам аллеи машины, спешащие по своим делам люди – все тоже казалось праздничным и веселым. Теперь говорила жена – без умолку, не переставая, держа его одной рукой, горячей и влажной от жары, под локоть, а другой жестикулируя, – он молчал, и все это вместе складывалось в ощущение какого-то великого покоя и умиротворенности. И вчерашние суматошные, истеричные сборы, и это унижительное, душу вон выворачивающее вымаливание по телефону у начальства двух дней полагающегося ему еще за новогодние дежурства отгула, так что когда положил трубку, то одного только и хотелось – напиться, и это бегание по ночному уже вокзалу, перестраивающемуся, с грудями кирпича, досок, запахами мокрой штукатурки, цемента, алебастра, шныряние от кассы к кассе – «Билетов нет», «Билетов нет», – от проводницы к проводнице – «Возьмете двух человек?», «Возьмете двух человек?» – все это, оставшись позади и окончившись, казалось теперь несущественным, неважным совершенно, как бы и не бывшим. Вместе с субботой и воскресеньем выходило полных четыре дня такой отпускной праздности, и он ни разу не был в Ленинграде, и настоящего отпуска, приберегаемого нынче к концу осени, у него тоже не будет...

Они обошли вокруг Зимнего дворца, дважды попав на Дворцовую площадь, постояли у начала Невского, по которому уже проезжали два с небольшим часа назад на троллейбусе, потолклись у Адмиралтейства, сходили на бывшую Сенатскую площадь, к памятнику Петру Первому, вернулись обратно и вышли к Исаакиевскому собору.

Гигантское многотонное чудовище, упершись в землю десятками неимоверно громадных черных лап, как бы выжимало себя над нею и парило в воздухе, втиснувши от невероятного напряжения в плечи куполообразную лысую, отливающую на солнце золотом голову.

Собор окружали связанные друг с другом проволокой, выкрашенные зеленой краской железные турникеты, и на них тяжелой черно-цветастой анакондой навалилась людская змея, обвив собор почти полным кольцом.

– Это за билетами вовнутрь и на смотровую площадку, – сказала жена. – Была – и ничего не помню. А наверх поднялась – осень, дождь сеет, мокрые крыши, экскурсовод говорит, а ничего не видно.

– А тебе можно, – Андрей показал глазами, – наверх? Поднимешься?

– Ой, ну конечно, можно. – Жена тоже посмотрела наверх, на вздернутые от напряжения плечи чудовища, и перевела взгляд на Андрея. Синие глаза ее были словно подсвечены синими тенями на веках и цвели на бледном худом лице признательностью и удовлетворенным жела-

нием. – Дай еще персик. – Протянула руку, он вытянул привычно из кулька, шуршаще покоившегося теперь в жаркой темноте глубокой нейлоновой сумки, еще один персик, она привычно достала у него из кармана джинсов платок и стала тереть персик об оставшийся еще чистым угол. – И не только можно, а ужасно хочется. И тебе бы тоже не мешало подняться. Но ведь не стоять же такую очередь.

– Конечно, нет. – Андрей обнял ее за плечи и повел вдоль гудящего, жужжащего тела анаконды к неминуемо где-то находившейся голове – месту продажи билетов. Волосы жены терлись об оголенную руку, щекотали, и от этого по руке бежала волнующая дрожь озноба.

Билеты продавали в стеклянном киоске близ входа. Очередь взбухла возле него, обхватывала со всех сторон – въевь голова, киоск был прозрачным светящимся глазом анаконды с ярко-розовым, нейлоново блестящим зрачком – молодой толстой кассиршей со скучным мятым лицом.

Андрей оставил жену в стороне, примерился – и выбрал; жертва была пожилой провинциальной женщиной с терпеливым кротким лицом – провинциальность ее просвечивала сквозь парикмахерскую прическу, нарядное платье с оборками, золотую нитку на шее оторопело-восхищенной застывшей улыбкой.

– Извините. Два билета, внутрь и на смотровую площадку, не возьмете? – протянул он ей деньги. – Жена беременная, трудно стоять...

Женщина взглянула на Елену, скромно томящуюся в одиночестве с потупленной головой, словно не имеющую никакого отношения к этому разговору, глаз у нее был иной, чем у продавца, он, видимо, нашел в ее тонкой, ничем еще почти не отличной от обычной фигуре подтверждение сказанным словам, и она протянула руку:

– Давайте, конечно.

– Ага! – с взвизгом, опытным голосом магазинной скандалистки закричала выстаивающая за ней приобщение к культуре другая провинциалка, и в шильцах ее глаз затрепетал, как флажок на ветру, язычок ненависти к непровинциальному виду Андрея. – Стоять ей нельзя! А наверх по лестнице сорок восемь метров – можно?!

Женщина, взявшая деньги, заколебалась. «Провели как дурочку. Сама отстояла, а почему другие...» – плеснулась в ней наведенная соседкой по очереди мысль, но трешник был уже у нее в руке, и она решилась.

– Там, на лестнице-то, солнца нет, – защитила она неизвестную ей молодую беременную. – А здесь солнце...

«Вот именно, солнце», – и для себя оправдал свои действия Андрей, хотя втайне он знал, что солнце ни при чем, просто им не хочется стоять; и это, конечно же, нехорошо, что им не хочется и они даже не чувствуют неудобства от своего нахлебничества, но в том, как они собирались, как метались вчера по платформам, отпуская один поезд за другим, как звонили сегодня в молчашую пустоту за коричневым дерматином, в самом сроке, на который они приехали сюда, – было во всем этом какое-то словами не оформляемое, неуловимое для выражения оправдание его действиям, моральное какое-то право, и это он тоже чувствовал, когда вел Елену к началу очереди.

Наверное, им следовало пойти наверх сразу, а потом уже вниз, но они решили сначала походить по самому музею – дня впереди было, как в детстве, необъятно, без конца и без края, и они рассудили прибереечь подъем наверх, панораму Ленинграда на потом, на после, на закуску, как бы увенчать ею этот начальный период их путешествия – запечатать и бросить в пустой еще мешок за плечами. Музей взял у них часа два. Андрей стоял у маятника Фуко и не мог отойти. Очередная девушка-экскурсовод, с сердитым почему-то, как у всех у них здесь, отчужденно-высокомерным лицом, в какой-нибудь жарной замшевой юбке и белой с голубыми шарами блузке-батнике, запускала, примериваясь, переломившись в поясице, тяжелую бронзовую гирьку, гирька, проделав отмеренный ей над делениями путь, легко и как-то неуловимо

подкравшись, сбивала одолженный у публики спичечный коробок, девушка начинала комментировать эффект равнодушным звенящим голосом, распускала экскурсантов и шла набирать новую порцию, ее через минуту сменяла другая, а он все стоял, смотрел то на расчерченный круг, на тускло поблескивающую чушку гирьки, то наверх, на вознесенный под купол другой конец стальной нити, земля вращалась – он знал, с самого рождения, кажется, знал, но как нелепо прост был доказывающий эту истину опыт, как обжигающе душу гениален!..

На лестнице Елена начала вдруг задыхаться. Они шли все медленнее и медленнее, их обогнали все, кто был в группе, даже старики, и в кольцевых оборотах лестничных маршей исчез шорох шагов; наконец они остановились вовсе, и Елена, держась за стенку, помотала головой, пытаясь улыбнуться.

– Что-то меня не хватает на закуску...

– Может быть, спустимся? – поддерживая ее под локоть, спросил Андрей.

Такое с ней было впервые за все пять почти месяцев, он уже привык, что все у нее происходит гладко, и не заволновался, предложил спуститься, скорее, потому, что следовало предложить, и Елена, высвобождая свою руку из его, помахала ею защищающе: нет-нет.

Они стали подниматься снова, вышли на свет, к резанувшему глаз сияющее-голубому после электрических желтых потемок небу, внизу, под ногами, была железная пологая крыша, крашенная зеленой краской, слева впереди был купол со смотровыми площадками, нижняя – заполненная с одного края людьми, они пошли к куполу над зеленой железной крышей по узким железным мосткам с перилами, Андрей впереди, жена сзади, мостки раскатисто громыхали, и Андрей скорей догадался, чем услышал, что жена зовет его. Он оглянулся – Елена стояла метрах в десяти позади, перегнувшись через перила, ее тошнило. Андрей побежал к ней по обвально загрохотавшему железу, схватил за плечи, она оттолкнула его, закрываясь рукой. Андрей отошел в сторону, спустя минуту снизу послышался шум поднимающейся новой экскурсии, и Елена выпрямилась. Бледное от низкого последний месяц гемоглобина лицо ее было серым.

– У меня там в сумке мой платок, – сказала она Андрею слабым голосом, показывая рукой и шевеля при этом пальцами.

Мостки под ними загромыхали – из узкой щели выхода выбирались один за другим и шли, торопясь, жадно оглядываясь и щурясь от света, первые экскурсанты.

Андрей подошел к жене, она запустила руку в неизвестность сумки, повозила в ней, и рука вынырнула с платком.

– Не смотри, – с просительной неловкой улыбкой сказала она, снова отвернулась и стала вытирать рот.

Экскурсанты достигли их, и грохот теперь был вокруг, и все, проходя мимо, оглядывали Андрея с Еленой быстрым любопытствующим взглядом, словно они являлись уже частью того, что им предстояло осмотреть.

Наконец экскурсия смолкла вдалеке, они опять остались одни, Андрей ждал, и Елена сказала, моляще, виновато и бессильно заглядывая ему в глаза:

– Я пойду вниз, а? Иди один, а я вниз, где-нибудь внизу буду, найдешь.

– Как это я тебя брошу... А наверх ты совсем не можешь? – Андрей еще надеялся, еще думал о панораме, которая могла им открыться, пройди они какие-то полтора метра, но и знал уже, что дорога теперь одна – вниз.

– Ой, не сердись... – жена глядела на него униженно и устало. – Я тебе все испортила. Но я же не виновата...

Внизу возле собора сесть было совершенно не на что, жена еле доплелась до скверика и свалилась на первую же скамейку, неудобно стоявшую возле входа, с урной у бока.

– Ой, не сердись, ну пожалуйста, – вновь сказала она. – Я знаю, ты сердишься – я тебя сюда притащила, ты купил билеты, а я не смогла...

– Хватит, – оборвал ее Андрей. Вышло это совсем грубо, и он разозлился на себя, что опять не сдержался. – Тебе плохо, а я тебя буду винить, – чтобы сгладить резкость своего тона, сказал он. И снова голос его прозвучал раздраженно.

– Вот ты уже и сердисься. – Елена поджалась к его плечу и положила на него голову. – Мне в самом деле совестно: ты так билеты достал... Так лихо. Такой молодчага.

– Ну и все, чепуха, все. – Андрею, пожалуй, была немного приятна ее похвала. – Нечего совеститься, не твоя вина.

– А чья, а чья? – живо приподнимаясь с его плеча, спрашивала она, заглядывая Андрею в глаза, улыбаясь в сладком предвкушении приятного ей разговора.

– Чья-то, точно не твоя, – невольно улыбаясь, сказал Андрей.

За спиной, по дороге, мелко шелестя веером воды об асфальт, ползла поливальная машина. Андрей оглянулся – машина была похожа на чудовищно расплывшегося вширь усатого носорога, шелестящие усы его, оставлявшие за собой черный лоснистый след, поймали в этот миг солнце и преломили его в сияюще вспыхнувшую и погасшую тотчас цветную картинку спектра. Виляя и быстро-быстро работая ногами в желтых сандалиях с торчащими ремешками, пронесся на велосипеде мальчик лет пяти с азартным, возбужденным перекосом лица, песок из-под его вихляющих колес колочил ноги между собравшимися у щиколоток носками и задравшимися джинсами. Проходивший посередине дорожки, на которой стояла скамейка, небритый, сивый старик в черном драповом пальто и войлочных ботинках на молнии «прощай молодость» свистнул Андрею, поймав его взгляд, и, показав на жену, поднял вверх большой палец, почмокал губами.

– Корыто старое... – пробормотал Андрей.

С неба вдруг обрушилась на землю, будто часто-часто хлопали брезентовым полотном, голубиная стая, заходила беспорядочно, вперевалку, клопоча неясными звуками в горле, – казалось, та же самая, что всплеснула вверх там, в аллее, при их приближении, когда они шли в чебуречную, и опустилась только вот теперь, здесь.

– Давай ударим по персикам! – сказала жена, вновь заглядывая ему в глаза и лукаво-заговорщицки закусывая нижнюю губу. – Ты еще ни одного не съел. Какая вкуснятина – прямо тают.

Она уже приходила в себя, и острые, высокие ее скулы, из-за которых, может быть, когда-то – давно, в другую эру, пять лет назад, с ума сойти! – его и повлекло к ней неудержимо, были уже нежно, матово розовы.

* * *

Теперь квартира отозвалась на звонок дальним, едва, казалось, теплившимся в космосе ее неизвестности присутствием жизни – серебряный прут звонка вошел в живую плоть, отозвавшуюся мышечной судорогой: там, за вытершимся дерматинном, произошло какое-то мгновенное движение, шорох, почти неразличимый слухом, как послышавшийся, но вдруг усилился многократно, оказался у самой двери, сделался дыханием ли, шарканьем ли подошв, скрипом ли половицы, – и замок щелкнул с легким певучим присвистом. Им открыла высокая женщина в длинном, лишь щиколотки виднелись из-под него, зеленом нейлоновом халате, с короткой парикмахерской стрижкой, кругло-худым некрасивым лицом, на котором ярко и горячо сияли цвета молодой сосновой коры карие глаза. Она была едва ли много старше Андрея, лет тридцати, и это укололо его каким-то странным предчувствием.

– Здравствуйте, Мария Петровна, – сказала жена, солнечно улыбаясь, вся подаваясь вперед. – Я Елена, Лена Мартынова, узнаете? – И, однако, в голосе ее он тоже услышал, как бы увидел, какую-то мгновенно образовавшуюся щербинку – будто она продавала, рекламируя как новую, много лет ношенную вещь. – Я Елена, Лена Мартынова, узнаете?

– Нет, – сказала женщина. – Не узнаю. И как я вас могу узнать – я Мария, но не Петровна, а Леонидовна. И мне никто вчера ниоткуда не звонил, не предупреждал ни о каком приезде. А то, что у вас фамилия моего мужа, – это тоже новость, очень это обстоятельство интересно выяснить.

Она стояла по ту сторону порога за полуоткрытой дверью, одной рукой ее придерживая, словно готовая захлопнуть в любое мгновение, другой опершись на уровне плеча о косяк, на безымянном и среднем пальцах этой руки желто-покойно блестели широкое обручальное кольцо и маленький, изящный, как голубиная головка, перстенок, губы у нее были тонкие, нервные, и, пока она говорила, они подергивались к правому углу рта, будто она силилась сдержать усмешку.

– Простите. Ничего не понимаю. – Жена глянула на Андрея, на дверь соседней квартиры, где они оставили утром чемодан с портфелем, улыбка сошла с ее лица, но осталась как бы готовность улыбки – готовность посмеяться вместе со всеми странной шутке. – Ничего не понимаю. Я сестра Анатолия Васильевича, не родная сестра... а как это говорится... единокровная – у нас отец один, и мы ведь с вами знакомы даже, я у вас...

И все: и возраст этой женщины, и отчество ее, и весь этот прием – все это соединилось в ней в понимание, жена споткнулась на полуслове, миг какой-то продолжала смотреть на женщину, потом медленно перевела взгляд на Андрея.

– Андрей... – начала она.

– Ну, здорово вышло! – сказал он женщине, недослушав жену и зная заранее, что именно этого – говорить за нее, взять «бразды правления» в свои руки – хочет она от него. – Значит, вы... – Тут он запнулся, но никак по-другому невозможно было сказать, и он продолжил, надевая постепенно на лицо ту же, что у жены раньше, сияющую улыбку: – Значит, вы новая жена Анатолия Васильевича. И тоже Маша. А мы не знали. Ну конечно, мы не звонили, это вам соседка сказала, что звонили... не звонили – неожиданно так собрались... Как-то мы даже и не подумали, что Анатолий Васильич может быть в плаванье. Лена – моя жена, я муж ее, а с Анатолием Васильевичем они брат и сестра, по отцу...

Женщина в дверях переменила положение – отняла руку от косяка и прислонилась к нему бедром.

– Никогда он мне ни о чем подобном не говорил. Мыс ним, правда, в этом вы не ошиблись, – метнула она ресницами на Андрея, – недавно женаты, но от этого суть не меняется. И пустить вас, простите... не могу, нет. И давайте говорить об этом больше не будем. До свидания.

Дверь мягко захлопнулась, спружинив белесо-коричневым дерматином, скрыв собой и женщину, и единственно возможное пристанище их на несколько этих ленинградских дней. Все это походило на сцену из какого-то спектакля с шутовскими происшествиями, смотреть который тем смешней и интересней, чем нелепее события, случающиеся с героем, слишком это походило на такой вот спектакль, чтобы быть реально с ними происходящим, и оба они, когда дверь мягко сомкнулась с косяком, еще стояли какое-то долгое мгновение не двигаясь и молчали.

Наконец Андрей сделал над собой усилие и повернулся к жене.

– Пошли за вещами, – сказал он.

Лицо у нее было горькое и несчастное.

Теперь, под желтое вечернее сипение перегорающей подъездной лампочки, шаги его в крошащемся цементе площадки были глухи и громки. Андрей нажал кнопку звонка соседней квартиры, и тотчас, как днем, там что-то грохнуло, зазвякало и стихло на короткий миг – до чавканья открывающегося замка.

– Подожди! – крикнула Елена. – Ты что, зачем вещи? Собираешься в Москву?

– Вещи взять собираюсь, – сухо ответил он. Дверь чавкнула замком и открылась. Утрешняя баба, по-прежнему в том же сатиновом синем халатике, только теперь застегнутом на пуговицы, разинула было рот, чтобы сказать что-то, но тут же вдруг ступила назад, запнувшись ногой об ногу, и, навалившись на дверь всем телом, влупила ее в косяк. Затем – звяк цепочки в гнезде и затухающее топанье ног по коридору.

– Что там такое? – Елена подошла к Андрею, взялась за тоненькую никелированную ручку на двери и подергала ее. – Ты что-то сказал, что ли?

Андрей не ответил, снова нажал на кнопку звонка, и дверь неожиданно открылась, без звука за нею, на малую щель, перечеркнутую наискось тускло взблеснувшими звеньями цепочки. Из щели на них смотрело теперь мужское усатое лицо, в выражении его глаз была собачья готовность кусать, и голос мужчины, когда он заговорил, дребезжал напряжением.

– Кто такие? – коротко продребезжал он первую фразу.

Шутовской спектакль продолжался. Вслед мужскому лицу, снизу его, в щели появилось женское – все той же бабы, выяснилось, что она, дура, потом только спохватилась – Марьей Петровной называют, а вчера будто бы лишь звонили; чемоданы она им не отдаст, раз соседка не хочет их признавать, ну и что ж, что это их чемоданы, что ж, что сами ставили, она под уголовное дело идти не желает, знает она, как оно бывает, только с милицией выйдут отсюда чемоданы, там пусть и отдает им милиция; а они с мужем ответственности на себя не берут и брать не собираются, и вообще сейчас сами будут звонить в отделение.

– Да что вы в самом деле, – теряя терпение объяснять ей все по третьему разу, сдавленным голосом закричал Андрей, – что вы трясетесь, ну зачем нам, рассудите же вы, заносить их к вам нужно было!

– Звони в милицию! – глянула, извернувшись, наверх, на мужа, баба.

Дверь выстрелила замком. Стена сотряслась от удара, и певшая свою сиплую предсмертную песню блеклая желтая лампочка тихо погасла. Тишина и серая подъездная темь согласно обнялись, как две давно не видевишиеся родные сестры. Андрей отошел к перилам и посмотрел вниз, в дверной проем входа. Там, за ним, были еще поздние летние сумерки, и половичок асфальта в проеме светился матовой белесостью.

– Пошли, – сказала за спиной жена.

– Куда? Дождемся милиции, объясним все, возьмем вещи.

Жена подошла и стала рядом.

– Но милиция может ведь и не прийти сегодня.

– Значит, сами сейчас пойдем.

– Завтра возьмем. – Жена дотянулась руками ему до плеч, подталкивая его, протиснулась между ним и перилами, встала на цыпочки и поцеловала в губы. – Не заводись, не раздражайся, видишь, я какая спокойная. Зачем нам сейчас вещи, время на них тратить? Давай лучше о ночлеге позаботимся. В гостиницу на одну ночь пустят ведь нас? Ну, не в одну, так в другую.

– А как же это ты без пижамы спать будешь?

– Ну, не злись, не злись, – жена оттолкнула его, упершись ему в плечо, и отошла в сторону. – Злишься, что укладывал, тащил – такой груз, всего на четыре дня! – и все так бестолково, да? Виновата, признаю, – не позвонила, а что теперь злиться?

Андрей заставил себя рассмеяться, обнял ее за плечи, и они стали спускаться.

– Я не злюсь, с чего ты взяла... Просто я ошарашен.

Верхний обрез дверного проема поднимался все выше, вновь часть за частью высвобождая улицу: проезжую часть дороги, газон, скамейку, стоявшую в своем нормальном положении на ногах, дом на противоположной стороне, – только все это теперь было размыто в чертах, блекло, и небо, когда они вышли под него, уже оставленное солнцем, походило на увядающий лепесток гигантского голубого цветка. Машины, с тихим шипением шин об асфальт пробегавшие навстречу друг другу с обеих сторон газона, шли уже с зажженными подфарниками, тускло

светившимися на их оскалившихся решеткой воздушного охлаждения лицах, но фонари еще не были включены.

И так же, как утром, не сговариваясь, они механически повернули налево и пошли в сторону метро.

– Ну что, пойдём в эту... как она называется, на площади, возле Исаакия, – сказал Андрей, пытаясь вспомнить название гостиницы и не вспоминая, помня лишь то, что жена, указывая на большое, мрачное, кофейно-серое здание, сказала: «Та самая, в которой Есенин повесился».

– «Асторию»? – напомнила Елена.

– Ну-ну, «Асторию», – вспомнил теперь Андрей. – Там же возьмем и список других, телефоны их, будем звонить, если в ней не получится.

– Ага, – согласилась жена. Она все же чувствовала себя виноватой и предоставляла ему теперь полную свободу действий, чтобы будущие ошибки и неудачи не имели к ней уже никакого касательства.

Метро приняло их в свое светлое просторное чрево, пронесло в грохочущем дрожащем вагоне по мрачному тартару туннеля, змеившему вдоль себя мощные тела кабелей, и вновь вознесло на поверхность ребристой, поскрипывающей где-то в невидимой своей части ступенчатой шкурой эскалатора.

Мест в гостинице, разумеется, не было. Но Андрей сразу же просил номер только на ночь, и, отказав, им велели подождать, потом еще, и еще, и через час ожидания все-таки позвали.

– Только на ночь! – не глядя на них, копаясь в какой-то пухлой, с желтыми страницами бухгалтерской книге, властным хозяйским голосом громко сказала администраторша, нашла то, что искала, провела над строкою рукой с карандашом, отметила точкой, выписала себе на бумажку, захлопнула книгу и только теперь обратила к Андрею с Еленой лицо. – Деньги за сутки! – так же громко и равнодушно-хозяйски продолжила она, сомкнула, рот и, не отводя от Андрея взгляда, стала чего-то ждать.

У нее было нестарое, скорее даже молодое еще лицо, но эта безмерная, чудовищная власть, данная ей волею обстоятельств над нуждающимися в ее услугах людьми, делала ее, когда она глядела глаза в глаза, словно бы безвозрастной, существующей с сотворения мира, и она знала при этом, что все уйдут в другое измерение, сменится поколение, и другое, а она все будет существовать.

Она молчала, глядя на Андрея, и он тоже молчал, чем дальше, тем больше недоумевая и паникуя, не понимая, чего она ждет от него, Елена уже переводила взгляд с него на нее – туда-сюда, и наконец администраторша выкрикнула:

– Ну так что? Деньги за сутки, я говорю! Согласны?

– Согласны, да, ну конечно... – только теперь понял Андрей, чего она ожидала от него, и понял, что тут, должно быть, какое-то финансовое нарушение – вот отчего она ждала, а он, да и Елена тоже, даже и не подумали об этом.

– Заполняйте, – выбросила им администраторша шелестяще трепыхнувшиеся в воздухе листки бланков. Кончики пухлых ее пальцев, большого и указательного, были испачканы в чернилах.

«Фамилия, имя, отчество», «год и место рождения», – заполнял Андрей графы и, когда дошел до серии и номера паспорта, вдруг обнаружил, что паспорт в заднем кармане джинсов у него только один – его.

– Где твой паспорт? – с холодящим предчувствием, тихо, чтобы не слышала администраторша, возле которой, прямо на стойке, заполнял бланки, спросил он жену.

Она посмотрела на него долгим, вспоминающим взглядом. Скулы ее от этого поднялись, глаза сузились – стали совсем китайскими.

– В верхнем ящике письменного стола под желтой клеенчатой тетрадью, – вспомнила она.

– Это точно? – все тем же тихим голосом переспросил он.

– Абсолютно точно, – твердо, с какой-то даже горделивостью ответила она. – Память у меня что надо. А что?

– Ты его абсолютно точно, – с нажимом, чувствуя, как все в нем внутри кипит, сказал Андрей, – абсолютно точно не взяла с собой?

Она поняла, и лицо ее – на это было больно и трудно смотреть – из счастливого и довольного – так по доске, исписанной мелом, проводят мокрой тряпкой – сделалось несчастным и тусклым.

– Нас не поселят, да?

– Черт побери! – выругался Андрей. – Даже и в отдельные номера.

– Но почему? – возмущенно спросила жена, оглянувшись на администраторшу, заранее на нее негодуя. – У тебя есть твой паспорт, у них – твои данные, ты за меня поручишься.

– А ты кто такая? – подписываясь под своим бланком и начиная заполнять на жену, посмотрел на нее Андрей. – Моя ленинградская пассия, и я приехал к тебе поразвлечься. А может, вообще только что на улице встретил.

– Ой, ну перестань! – поморщилась жена, и в том, как она это сказала, ему почудилась даже радость оттого, что вот может наконец позволить себе упрекнуть и его.

Через пять минут они выходили из гостиницы. За этот час, что они провели в ее холле, сумерки загустели – воздух из фиолетового стал густо-сер, везде уже горели огни. Площадь перед гостиницей была пуста, темнела на постаменте фигура Николая Первого и высилась за ним громада Исаакия.

Андрей пошел к выходу из гостиницы сразу после неудавшихся уговоров администраторши (зло хлопнул ладонью по стойке: «Черт бы вас всех побрал!»), не сказал жене ни слова и сейчас, выйдя, остановился – надо все-таки было решать, что же делать теперь.

– Идиотизм, – сказала за спиной жена. Она ниткой протянулась за ним через холл и сейчас тоже, вслед за ним, остановилась не рядом, а сзади и чуть сбоку.

– О тебе же заботятся, – не поворачивая к ней головы, хмуро сказал Андрей. – Чтоб муж твой, не дай бог, не согрешил перед тобой.

– Ой, да ну хватит же тебе! – Она топнула ногой, и, обернувшись наконец к ней, он увидел, что лицо у нее сумрачное, совсем несчастное и она держит себя за волосы, собрав их в горсти и отведя за шею, аэто значило, что еще одно его слово – и она разрыдается. – Зачем ты говоришь гадости, для чего? Я виновата, я уже признала это, что ты все злишься и злишься? Хватит, в конце-то концов!

– Я не злюсь, – пробормотал Андрей.

Но он злился и ничего не мог поделать с собой.

Он злился, потому что это уже было слишком, слишком много этой бестолковщины получалось – и все было следствием ее каприза, он чувствовал, что его просто распирает от злости, и оттого в большей степени, что она не попросила его остановиться, а приказала.

– На вокзал пошли, что ли, – полувопросительно сказал он, не поворачиваясь к жене, глядя на пустынную, от минуты к минуте все более суровеющую в сгущающейся электрической тьме площадь.

– Но нельзя же уезжать, не взяв вещи, – сухим, мертвым голосом сказала жена.

Андрей коротко глянул на нее.

– Ночевать там, я имею в виду.

– А-а!.. – протянула она. Некоторое время они молчали – только тихий равномерный гул отходящего ко сну большого города, – потом она сказала: – Пошли. Больше ничего не можешь придумать?

– Больше ничего.

Невский тоже уже был пустынен – редки прохожие, редки машины, лишь огни фонарей и реклам, да иными мирами, где все устроено, благополучно и счастливо – глыбой света в переплетах окон, – тяжело шлепая шинами, мощно и целеустремленно проносились троллейбусы с автобусами, троллейбусы высекали на стыках проводов с растяжками летучий, мгновенно умиравший желто-красный фейерверк. Воздух начинал остывать, рождая ночную прохладу, оба они, и Андрей, и жена, были одеты легко, и Елена шла, обхватив себя за плечи, угнувшись вперед – удерживая тепло, но, когда подходили к остановкам, ни троллейбусов, ни автобусов вблизи не было видно, и они шли дальше, и так и прошли весь Невский пешком, до самого Московского вокзала.

Вестибюль его был гулко-светел, потолок вознесен на немыслимую высоту, и вид этого громадного каменного пространства подавил их – ясно было, что они никогда не смогут здесь согреться. Но в залах все оказалось по-иному: и сумрачнее, и ниже потолки, и много народу, и когда они нашли на скамейках свободное место и жена, обхватив Андрея за шею, положила голову ему на плечо, она тут же уснула. У скамейки стояли, не давая вытянуть ноги, мешок с чемоданом вольно и удобно раскинувшись рядом в настороженном чутком сне двух мужичков в надежных кирзовых сапогах и сереньких латаных пиджачках на блеклых, застиранных ковбойках. Андрей попробовал, не тревожа жену на плече, сдвинуть ногой мешок с чемоданом в сторону мужиков, чемодан сдвинулся, легонько скрежетнув по кафельному полу железным углом, и оба мужика тут же открыли глаза, и ближний, глядя на него мутно и косо, сказал хрипло:

– Не тронь, не тобой ставлено.

– Мешают, – громким шепотом попробовал объясниться Андрей. – Ваши вещи, ставьте возле себя.

– Пусто было, когда ставлено! – неожиданным тенорочком вступил дальний мужик. – Что ж, из-за вас издить туды-сюды? Спать, Христа ради, дайте!

Андрею хотелось ругаться, хотелось сказать, что своим криком мужик всех тут разбудит, ему, видите ли, дайте, а сам орет, – выговориться хотелось, избавиться от накопившейся в груди мрачной, тяжелой мути, но он сдержал себя, пихнул чемодан к соседней скамейке, перегородив проход, и стало возможным хотя бы чуть-чуть расслабить гудевшие, постанывающие, казалось, от усталости мышцы.

Воздух был тяжел и сперт, как во всяком помещении, в котором скапливается большое количество народа, кисло-влажен, и в нем стоял ровный, монотонный фабричный гул, возникавший из сотен голосов, звучащих одновременно, волны звуков которых складывались и пересекались, бились о всюду возникавшие перед ними стены, отражались, неслись обратно и снова отражались, и так – пока не умирали совсем, затихнув от немощи.

На скамейке за спиной двое местных парней-ленинградцев с шуточками и крепкими словцами делились друг с другом опытом, где можно скоротать ночь, если придется вдруг проводить ее вне дома. Опыт у обоих, по тому, во всяком случае, как они разговаривали, был немалый.

– На Литейке тут, в доме одном, ну, Академкнига где, знаешь? Во! В подъезде одном, второй слева... второй, точно. Вот там. На чердаке диван стоит. Ну, выставили, кто-то там выставил – новый купил. Перед дверью чердачной, на площадке последней, только потолок низкий – знать надо, чтоб не долбануться, Кто-то там одеялко притащил даже – ночует кто-то...

– От жены, с первого этажа бегают, – с ленцой, растягивая гласные, сказал второй парень.

– От тещи. Как некоторые, – со смешком подхватил первый, тот, который рассказывал, и было ясно по его голосу, что слова эти имеют прямое касательство к его товарищу.

– Побежишь, мать ее... – выругался второй. – Но я все, я сказал половине: вот вам ночь, разбирайтесь, а если ты ее не ущутишь, чтоб она, чуть что, не заводилась с пол-оборота, я вообще иду. Вот так. А я знаешь где за милую душу ночевал?

– Где?

– А на Балтийском. На вокзале на Балтийском. За милую душу там. Он на ночь же закрывается. И в зальчик там, где буфет, махонький такой, перед самым закрытием проберешься – и на лавку. Ну и все. Вокзал закрывают, выходит баба, зал закрывает, изнутри, изнутри, не снаружи, – дежурит там. И все, кемарь, пока снова ключами не забрякают. Тут уже не дают: вставай-вставай, электрички ходить начали, поезжай, куда тебе? Но часа четыре, четыре с половиной всегда отхватишь.

– Рванем, может? – сказал первый. – Сколько времени? Успеем еще. А то ведь пометут отсюда. Тут всегда.

– Может, на диван твой? Поближе.

Первый хмыкнул.

– Во, видишь? Во, вот этим, – и по тому, как прояснел, усилился на мгновение его голос, Андрей понял, что это он, повернувшись, кивнул на них с женой. – Это вот этим на тот диванчик. А нам с тобой, мужикам, только сидя. А на Балтийском, говоришь, лечь можно.

Второй помолчал.

– Слушай, переться туда... – растягивая гласные, ленивым голосом сказал он потом.

Андрей, лишь самую малость поворачивая голову, чтобы не разбудить жену, кося глазами, посмотрел на них – у одного увидел горбоносый, с острыми скулами, как стамеской вытесанный профиль, у другого – лохматый, заросший до воротника куртки каштановый затылок.

– Неохота переться-то к чертовой матери, – лениво говорил каштановый затылок. – Да, может, и не выгонят еще.

– Не, давай-ка поехали! – настойчиво сказал профиль. – Стоит овчинка выделки.

Андрей отвернулся, поправил руку жены у себя на шее, съехал по скамейке пониже, отчего ноги в коленях опять согнулись под острым углом, и, отбросив голову на загиб спинки, закрыл глаза.

Спать было неудобно и тяжело – во сне ему снилось, что он привязан к крестовине телеграфного столба, причем еще и обвит вокруг него до судорожного, разламывающего все тело онемения шеи и позвоночника, видимо, он кричит от боли, потому что внизу под столбом стоят вокзальные мужички с мешком и чемоданом у ног и грозят ему пальцем: «Не тобой вязано, и не вопи! А то уж!» Андрей чувствовал сквозь сон, как ворочается, меняя в конце концов положение, сон исчезал и появлялся вновь, неизменный в своем повторении, лишенный всяческого движения, словно бы застывший, как умертвивший навеки летучий момент жизни фотографический снимок.

Когда он наконец проснулся – спиной к жене, щекой, почти всем лицом, – на загибе спинки, ни тех парней-ленинградцев, ни мужичков рядом и их вещей не было, и во сне он, оказывается, вытянул все-таки ноги. Жена спала, уткнувшись лбом ему в спину, сквозь тенниску он ощущал его горячую округлую тяжесть. Он повернулся, садясь по-нормальному, жена заворочалась, застонала, но не проснулась, а вновь уткнулась лбом, только теперь в плечо.

Вдоль рядов, оглядывая профессиональным оценочным взглядом их население, двигались двое милиционеров. Оба они были по ночной поре в кителях, но у обоих расстегнутых, у обоих одинаково блестели бляшечки брючных ремней под остренькой оконечностью форменных галстуков, но один был совсем молоденький, со смущенным юношеским выражением круглого розовощекого лица, другой пожилой, грузный, на мясистом усталом лице его тяжело нависали над сумрачными щелями глаз толстые бугристые лобные складки. Андрей глянул перед собой – возле ног у них было чисто, пустынно, кафельный островок среди моря чемоданов, узлов, корзинок, коробок, тугих круглых авосек, чемодан и мешок тех мужичков сослужили бы им сейчас добрую службу.

Андрей закрыл глаза и притворился спящим. Спустя минуту он услышал неудобные – боком – шаги вдоль ряда, между вещами, потом его взяли за плечо и тряханули. Он открыл

глаза – за плечо его держал пожилой, а молодой стоял возле и смотрел на Елену, приоткрыв рот. От бесконечного ерзанья по скамейке во сне платье у нее задралось выше колен, и с каким-то откровенным бесстыдством глядели из-под него бледные, худые ее ноги.

– Куда едем? – спросил пожилой.

– Что – куда? – бессмысленно переспросил Андрей, мучаясь от этого взгляда молодого на ноги жены и не зная, разбудить ее или пусть так...

– Я спрашиваю, куда едете, можете предъявить билеты? – повышая голос, сказал пожилой. – Непонятно?

– Понятно, понятно, – пробормотал Андрей, глядя на молодого, тот почувствовал его взгляд, зрачки его скакнули с ног Елены на Андрея, и тут же он сделался вообще немислимо алым, замолчал и стал глядеть на своего старшего товарища. – В Москву едем, – смог теперь ответить Андрей.

– Билеты есть? – напомнил пожилой.

– Нет билетов. – Андрей говорил с ним не вставая, задира л голову, и было в этом задирании что-то унизительное, хотя он-то сидел, а стоял милиционер. – Были бы билеты – сейчас бы ехали.

– Ясно, – сказал пожилой и коротко взмахнул рукой: – Будите вашу...

– Жену, – вставил Андрей.

– Вот-вот, вашу жену, и покиньте зал. Здесь места для пассажиров.

– Мы и есть пассажиры.

Что-то следовало сказать не то, не это совсем, это уже начиналась обычная глупая, бессмысленная перебранка, надо было попытаться объяснить... но как начать, такая белиберда, если рассказывать... нет, невозможно... но невозможно ведь и уйти отсюда – куда, на тот диван у чердачной двери, где это?

– Из чего же видно, что вы пассажиры? – терпеливо спросил пожилой.

Андрей сделал над собой усилие – будто выжал гнущуюся от тяжести штангу – и начал объяснять.

– Нам нужно уезжать, действительно. Просто нелепость, поймите. Мы не можем взять билеты – у нас нет нашего багажа. Мы его отдали на хранение, а нам его не отдали. И ночевать нам оказалось негде, и уезжать не можем – не возвращают багаж. Завтра вот будем разбираться...

– Квитанцию потеряли?

– Нет. Не было квитанции. Это мы в соседнюю квартиру занесли, в соседнюю той, где останавливаться собирались. А потом так вышло, что туда не вышло, а соседи нам чемодан...

Жена приподнялась на плече, сонно мигая посмотрела на Андрея, на голубые, с блеском ременных бляшек животы милиционеров, скользнула взглядом вверх, увидела фуражки, поняла и быстро села прямо, одернув платье.

– Что случилось? – спросила она, медленно, как бы не веря, что это милиционеры, переводя взгляд на Андрея.

– Случилось, что нас просят уйти, – не глядя на нее, сказал Андрей и, заканчивая объяснение с милиционерами, развел свободными теперь руками: – Вот так вот... так получилось.

– Чепуха, – подал наконец голос и молодой. Прикрытые ноги Елены вернули ему самообладание. – Я думаю, в отделение их надо, – искательным голосом младшего к старшему обратился он к пожилому, – Документ есть какой-нибудь? – быстро оглядев Елену – заново как бы ее увидев, – спросил пожилой Андрея, не обратив внимания на младшего своего товарища.

Андрей вытащил, прогнувшись, из заднего кармана джинсов паспорт. Пожилой полистал его, посмотрел прописку, снова глянул на Елену и передал паспорт молодому.

– Запиши. – И посмотрел на Андрея. – Фамилия зафиксирована. Понятно? Если вдруг завтра... – Но заканчивать не стал, передал Андрею от молодого своего товарища паспорт,

толкнул того в бок, повернулся, и они пошли, мелко, неудобно ступая, по узкому извилистому проходу между вещами.

На ближних скамейках. произошло какое-то одновременное движение голов, – только теперь Андрей заметил и понял, что все близисящие, кто бодрствовал, следили за ними.

– Можно спать? – спросила жена.

– Можно.

Руки ее привычно кругло взяли его у локтя, он ощутил на плече тяжесть ее головы, но тут же она исчезла – жена подняла голову.

– А что, мы такие подозрительные?

– Значит, да.

Она подержала голову на весу, хотела что-то еще сказать, но передумала и вновь устроилась на его плече.

– Не буди меня по пустякам, – отходящим ко сну, затухающим голосом попросила она.

Андрей не ответил. Он вытянул ноги – влажно-кислый воздух, гул голосов, сероватая вода экономного дневного освещения, – закрыл глаза, покатав головой по скамейке, ища положение поудобнее, все было одинаково, и он затих.

* * *

Он проснулся оттого, что был весь мокр от пота, сердце стучало с такой бешеной быстрой силой, что не хватало воздуха. На лице лежало солнце, вокруг галдели и бегали дети, где-то за спиной пели колыбельную и повизгивала, качаясь, коляска. В первый миг он ничего не мог понять – откуда солнце ночью, в зале ожидания вокзала, откуда столько детей и откуда взялась детская коляска, потом догадался: это же Летний сад, они присели с женой отдохнуть – и тут, видимо, их сморило. Они сидели в тени, но солнце переместилось, тень ушла, и они остались на самом припеке.

Он пошевелился – мышцы были вялые, разморенные, голова будто разбухла, жена вслед его движению тоже зашевелилась, Андрей не видел ее, но по тому, как полегчало плечу, понял, что она проснулась. По аллее уходили, оглядываясь на них, две старые женщины с болонкой на поводке. Прямо напротив, метрах в пяти, сидела на корточках в зелененьких цветных трусиках и белой панаме девочка лет четырех, смотрела на них снизу детским внимательным взглядом. Весело, должно быть, они смотрелись – молодые мужчина и женщина, спящие в белый день на садовой скамейке посреди людной аллеи. Та еще картинка.

Рот ему растянуло в зевоте. Девочка в испуге вскочила и опротягью бросилась к скамейке на другой стороне аллеи, под защиту матери. На бегу у нее быстро и умильно взмелькивали желтенькие маленькие подошвы сандалий.

– Ты тоже спал? – отвечая зевком на его зевок, спросила жена.

– Спал, – пробурчал он.

– И сколько мы это спали?

Андрей посмотрел на часы: было ровно два, а в сад они вошли в самом начале второго и почти сразу, едва миновав памятник Крылову, чугунно оплывшему среди своих басен, сели – ноги не держали.

– Полчаса, это уж точно, – сказал он.

Утром, когда по высокой, стиснутой узкой аркою лестнице они спустились на площадь, в сияющий голубым простором над собой, пронзенный зарождающимся пламенем воздух, в веселый, лаково-блестящий бег автомобилей по площади в огиб зелененького садика, островком цветущего посреди мокрого после поливальной машины, с белыми ослепительными бликами асфальта, и сама эта деревянно-душная ночь, и оставленные у неизвестных людей вещи, и вообще все вчерашнее показалось пустячным, не стоящим переживаний, как-то все

по-другому увиделось, и просто невозможным показалось идти сейчас в милицию, они решили провести этот день, как если бы все шло нормально, и лишь ближе к вечеру обременять себя хлопотами.

Они позавтракали в стоячем кафе на углу Невского и Владимирского, с тех, давних еще времен почему-то Елене запомнившимся, доели персики из кулька, кофе, который им сварили, прохрипев паром в конусообразные, высокие, эдакий фарфоровый кулек, чашечки, был крепчайше-черен, горек и ароматен, после него, едва выйдя из дверей кафе, они окончательно забыли о вокзальной ночи – головы были ясными, чистыми, и бодрой и свежей была каждая мышца. Они пошли по Литейному – празднично грохотали, ликующе вспыхивая стеклами и лаком железной обивки в солнечных проемах между домами, трамваи, празднично расковыривали мостовую вокруг рельсов рабочие в желтых фуфайках на голых телах, стреляя в асфальт перфораторами, празднично вываливались и лезли вверх по ступеням автобусов толпы народа, город тонул в праздном бездельи и упивался им.

Петропавловская крепость уже продавала билеты на свой осмотр. Они присоединились было к экскурсии, но тут же отстали, и тогда Андрея посетило явственное ощущение нереальности их пребывания здесь: бесстрастно выровнявшийся в затылок друг другу булыжник площади, красное холодное комендантское здание, казарменные линии прибастионных строений создавали иллюзию реальности той, которой они принадлежали, прошлой жизни – казалось, зацокают копыта, скрипнет рессорой, остановившись, коляска, выскочит из нее... в долгополой, колючего серого сукна арестантской шинели выведут в последний путь... Впрочем, работал Монетный двор, в закоптелое грязное окно между прутьями решетки Андрей увидел, как опускается-поднимается пресс, и из-под него в сторону окна, плоско блестя решкой ли, орлом ли, бегут и соскакивают в сторону монетки – кажется, двадцатчики. На пристани Елена приказала ему: «Сядь на корточки. Видишь? Как площадь». Дома на берегу, развернувшись к реке фасадом, стояли будто по ниточке, холодно-строгие и величественные, и Нева с высоты полутора метров над ней действительно была как громадная, высланная литым металлическим листом площадь.

Обратно они отправились трамваем, и что-то вдруг их развезло в нагретой громыхающей коробке, – зайдя в Летний сад, они решили присесть...

– Жрать хочу, – сказал Андрей. – Надо обедать.

– О, мой вечно голодный муж! – потягиваясь и зевая, встала со скамейки жена.

Обедать они угодили в столовую возле Эрмитажа, с покрытыми скатертью столами, с официантками, дешевыми ценами и хорошей кухней – и в этой неожиданной, нелепой какой-то, в общем, удаче тоже был праздник. Елена заказала себе два вторых, и Андрей, пока она расправлялась со второй порцией, издевался над ней:

– Мадам, вы такая стройненькая, тоненькая, не будет ли вам плохо? Мадам, может, вам помочь? Мадам, теперь мне ясно, почему ваш муж вечно голоден – вы его объедаете.

– О-ой, перестань!.. – стонала от смеха жена с набитым ртом.

Но в Эрмитаже, когда, купив билеты, они вошли в гулкую просторную прохладу вестибюльного зала, Андрей вдруг ощутил в себе какое-то беспокойство. Впрочем, облачко его было легко и невесомо и растаяло, едва они поднялись наверх, пошли по длиннейшей анфиладе залов: один за другим, один за другим, с боковыми галереями, комнатами, зальцами, один за другим – неужели человек мог жить в этом и не ощущать себя беспомощной белковой плотью о костях, клетчатке и омывающей ее красной жидкости, называющейся кровью, среди этих громадных каменных пространств?

Но потом, когда в третий раз, все более и более запутываясь, они проходили одну и ту же лестницу в поисках увиденного ими мельком, но оставленного под конец зала импрессионистов, это беспокойство вновь вернулось к Андрею, и с ним он ходил уже до конца, и мало-

помалу оно сменилось раздражением: надо было, конечно же, заняться багажом с утра – к черту весь праздник, выручить его, купить билеты – и тогда гуляй, празднуй, вот ведь как надо было.

– Что ты помрачнел?

Они спускались по широкой светлой мраморной лестнице в вестибюль, и жена, с улыбкой довольства заглядывая ему в лицо, задала вопрос легко и бездумно.

Андрей пожал плечами.

– Думаю о предстоящей операции. По изъятию законного имущества.

И это была правда, если не считать того, что та вчерашняя злость на нее за ее каприз уже примешалась к раздражению и разливалась внутри, черная, дымящаяся, обжигая и выедавая себе внутри темную маленькую пещерку.

Нужное им отделение милиции оказалось в двух кварталах от их несостоявшегося пристанища. Из застланного серым линолеумом холла в таинственную глубь учрежденческого организма вели четыре дощатые, выкрашенные в густо-коричневый цвет двери, одна из них была распахнута до упора и подперта таким же густо-коричневым, грубо сколоченным стулом, чтобы не закрывалась, в проеме ее виднелся угол деревянного барьера, двое милиционеров в фуражках за ним – явно комната оперативного дежурного.

– Извините, пожалуйста, – начал Андрей тривиально. – Мы вот по какому делу...

И дальше пошла такая нетривиальная нелепица, что к барьеру послушать его подтянулись все, кто был в комнате, – трое милиционеров с сержантскими лычками, а дежурный – широкоскулый, сибирского типа капитан его, Андреевых, лет, гладко, лоснисто выбритый, с плотным жирком второго подбородка, – как ему растянуло в начале рассказа рот в ухмылке, так и сидел с нею, – сощутив глаз над взъехавшей кверху скулой до кошачьей узости.

Жена стояла сзади и чуть сбоку, Андрей ощущал ее мнущиеся движения, нервозность ее рук, не знающих, что им делать, и перекладывающих из одной в другую сумку, сунутую ей Андреем при входе в отделение.

– Так, ну так и что они? – перебил Андрея дежурный, все с той же ухмылкой, не в силах согнать ее с лица.

– Не отдают.

– И правильно делают. – Капитан, перешедши к решительным интонациям, сумел вернуть лицу озабоченно-деловое выражение. – А что, вдруг действительно краденое укрываете? Смеетесь? А ничего смешного. Бдительные товарищи – таких бы побольше, у нас бы давно уже полный коммунизм был: двери без замков стояли. Анисимов! – чуть привстав со стула, глянул он в сторону подошедших к барьеру милиционеров.

– Я, товарищ капитан, – мгновенно отозвался, вытягиваясь в рост, один из них.

Второй раз за прошедшие сутки Андрей имел дело с милицией, и уже что-то привычное и как бы даже необходимое для жизни появилось в этом общении, и он ощущал капитана и этого бодро и молодежато отозвавшегося на свою фамилию Анисимова, который, вероятно, должен иметь с этого момента самое прямое отношение к ним с женой, – он ощущал их кем-то вроде близких, может быть, даже родных людей, которые мудры тем великим знанием жизни, коего нет у него, и они, в силу своей родственной заботы, всегда готовы поделиться им.

– Анисимов! – повторил капитан. – Пойдете с товарищами, поприсутствуете. Необходимо будет – ценные вещи там вдруг окажутся, ну и так далее, – составьте протокол. Впрочем, сюда для этого придете, – поправился он и повернул свое широкое коричневое лицо к Андрею. – А мне, пожалуйста, ваш паспорт. Сейчас, я зарегистрирую...

– Пойдемте, что ли? – позвал Андрея Анисимов, когда капитан вернул паспорт.

Солнце еще не зашло, но было так низко, что тени от домов, деревьев, людей, плоско лежащие на асфальте улицы, были чудовищно длинны, уносясь от рождавшего их предмета почти в бесконечность. Не было дневной жары, лицо вдруг оведал какой-то заблудившийся клочок ветра, и во всем этом чувствовался уже вечер.

Анисимов шагал быстрым – рабочим, определил про себя Андрей, – твердым шагом, они невольно должны были подлаживаться под него, и отзвук их шагов в начавшем холодеть вечернем воздухе был торопливо-сумбурен и сбивчив. Андрею казалось – молча идти неловко, и он растолковывал Анисимову, задыхаясь от скорости, подробности. Он говорил, как это получилось, почему, и почему могло бы не случиться, и при каком условии бы не случилось, но отчего же все-таки произошло... Жена молчала, едва поспевая за ними, семенила рядом, и это ее молчание выводило Андрея из себя: в конце концов, виновата она, так почему же она молчит, почему должен мозолить языком он, очень ему хочется.

– Как-то вот так неожиданно собрались. Не позвонили, ничего. Давай съездим! Давай да давай. Ну вот и приехали. Взяли наши вещички – и под замок. Смешно! Ночь на вокзале ночевали. А жена у меня, понимаете ли, бе-ре-менна-ая... – Последнее слово он произнес вразтяжку.

Жена дернулась, сбилась с шага, но тут же восстановила его, взяла волосы в горсть, отведя их за спину, подержала мгновение, отпустила и ничего не сказала.

Анисимов, молоденький младший сержант – совсем как тот, что ночью на вокзале засмотрелся на Еленины колени, – глянул на нее, покраснел, судорожно отвернулся и сказал с запинкой:

– Капитан... правильно говорил: не смешно. Вон у соседей третьего дня выявили: обчистили квартиру, а чемодан старушке одной на хранение сунули. «Бабуся, камера хранения забита, все руки оттянул, будь ласкова». Троячок подкинули. Бабуся и рада. А тот чемодан по всему городу разыскивали.

– Да нет, ну мы б в милицию не обращались, – попытался зачем-то оправдаться Андрей.

– Да вас и не обвиняет никто. Это я к другому совсем.

Они прошли мимо чебуречной, окна ее были уже по-вечернему зашторены и светились пестрой блеклой голубизной, пересекли аллею – стояла подтянуто и молодцевато цементная урна, стояла, крепко раскорячившись чугунными ножками, и скамейка, и черный проем знакомой подъездной двери с распахнутыми створками замаячил впереди уже в осязаемой родной близости.

– Вот сюда, верно? – указал на него Анисимов, продемонстрировав хорошее знание охраняемого района.

– Верно, – отозвался Андрей.

Лампу, перегоревшую накануне, не заменили, в подъезде было темно, и со света глаза совсем ничего не видели. Андрей пошарил рукой по стене, нашел звонок и нажал его. Ничего не грохнуло, не зазвенело в ответ – не отозвалось, звонок умолк, и в начавшей высветляться для глаза темноте было лишь дыхание жены и младшего сержанта Анисимова рядом.

– Дайте я, – отстраняя Андрея от двери, сказал Анисимов, нажал на кнопку, подождал и снова нажал, и нажимал потом раз десять с небольшими интервалами – никто не отозвался.

– Черт! – выругался Андрей.

– Не ошиблись? – спросил Анисимов.

– Да нет...

– Пустая квартира. Взламывать ведь не будешь, – пошутил Анисимов.

– Ну конечно, – не понял шутки Андрей.

– Тогда так. – Анисимов пошел к лестнице, стал спускаться, и Андрей с женой опять были вынуждены подлаживаться под него – пойти за ним следом. – Сделаем так: через некоторое время снова позвоните – вернутся ведь. Попросите. Не отдадут – тогда за мной, снова придем. Договорились?

Они были уже на улице, на свете, под акварельно голубым вечерним небом, и подъезд вновь был темен и плосок – один дверной проем.

– Договорились, – сказал Андрей Анисимову. Анисимов пошел в глубину улицы своим быстрым звонким шагом, и Андрей тронул жену за руку, чуть пониже локтя, показалось – попал на нерв, так дернулась вдруг ее рука.

– Ты что? Пойдем посидим на скамейке.

– Зачем ты так... – не трогаясь с места, глядя мимо него – вперед и в землю, сказала жена.

– Что – так? – не понимая, о чем она, но уже предчувствуя по тону – к чему, и еще более от того раздражаясь, переспросил он.

Теперь она взглянула на него.

– Зачем тебе нужно было говорить, что я беременна? И таким тоном! Разве мы плохо провели день? И так прекрасно спали на вокзале...

– В Летнем саду еще лучше.

Тротуар был узкий, и, обходя Андрея с женой, пожилой мужчина с бутылкой вина в сетке сошел на дорогу и все смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого.

– Какой ты бесчувственный... – вся как-то покосившись лицом, кривя губы, покачала она головой. – Какой эгоист!

– Пойдем на скамейку, – ступая на дорогу, сказал Андрей. – Там удобней. И ждать, и... и все остальное.

– Какой ты бесчувственный, какой ты бесчувственный, – еще раз повторила она на ходу. – Какой грубый... Я, знаешь, жалею. Обо всем жалею. И о том, что вышла за тебя замуж, – сказала она, повернувшись к нему, едва они сели.

– Дело, в конце концов, всегда поправимое, – глядя прямо перед собой, мрачно сказал он и по какой-то необъяснимой закономерности вспомнил вдруг, что должен был встречать сегодня институтского друга из Ашхабада – о встрече было записано в настольном рабочем календаре на сегодняшнем листке, и если бы он приехал на работу, то увидел бы эту запись и все исполнил, а теперь друг, как они здесь, болтается по Москве, стоит перед запертой дверью, сидит возле нее на чемодане.

– Повтори, – тихим, осекающим голосом попросила жена, – повтори, что ты сказал: поправимое?

– Я сказал то, что ты слышала. Ты жалеешь – можно поправить. А Сергей сейчас, между прочим, как мы, болтается. Только в Москве. А я здесь. Развеемся вот отправился.

– Какой Сергей, при чем Сергей? – шепотом закричала жена. – Поправимое, ты говоришь... ты предлагаешь... и это, когда я... когда я должна тебе...

Она заплакала, кусая губы, пошарила в нейлоновой темноте сумки, ища платок, не нашла, взяла ее за углы, вытряхнула на скамейку, вытянула из развала платок и стала промокать им глаза, мокрые скулы, вытирать хлюпающий нос. Среди всей этой груды: замшевого плоского кошелька, пудреницы, записной книжки, пластмассового пенала с тушью для ресниц, тюбика с кремом «Вечер», шариковой ручки, пакетика анальгина, маникюрной коробки, полиэтиленового кулечка с ватой – лежал помятый, сплюснутый в какое-то подобие кубика, ворсисто-палевый, цыплячий-желтый с другого бока персик. Андрей взял его, вытянул из кармана свой платок и обтер шероховатую, проминающуюся под пальцами плоть.

– Съешь персик, – сказал он, протягивая его жене, когда она, высморкавшись, подняла лицо кверху, чтобы оставшиеся слезы не бежали по щекам, а высохли прямо в глазах.

Жена скосила глаза вниз, швырнула носом, ничего не ответила и не взяла.

Так оно и должно было быть, Андрей прекрасно это понимал, но необъяснимо для себя в ответ на ее пренебрежение он потащил персик себе в рот, с каким-то мстительным ожесточением вгрызся в хрустнувшую, чавкнувшую плоть и стал есть, быстро, торопясь, не чувствуя ни вкуса, ни аромата, скрежеща зубами по косточке.

– Дай мне деньги, я поеду на вокзал, – сказала жена, когда он закончил есть и выбросил, промахнувшись, косточку мимо урны.

– Дождемся, возьмем вещи и поедем.

– Я хочу сейчас. – Она говорила преувеличенно спокойно и смотрела на него слишком прямым взглядом. – И одна. Вещи ты возьмешь и привезешь.

Андрей поморщился.

– Ладно, не мели чепухи.

Жена взяла со скамейки кошелек, раскрыла его, вынула деньги – в руках у нее развернулись рубль и трехрублевка.

– Если ты не хочешь давать мне денег, можешь поехать со мной и купить мне билет сам. Пожалуйста.

– Ну, уезжай, уезжай, черт с тобой, поехали! – Андрей вскочил со скамейки, стреб с нее в сумку весь парфюмерно-галантерейный развал и, не оглядываясь, пошел впереди жены к метро.

В кассах продавали броню, уходящий поезд прибывал в Москву ночью, желающих уехать им никого почти не было, и они тут же купили билет.

– Не провожай, – поджимая губы и не поднимая на него глаз, сказала жена, и Андрей повернулся и пошел – все тем же гулким, возносящимся на невероятную высоту вестибюлем, спустился по той же стиснутой узкой аркой лестнице – на ту же площадь, что и нынче утром, только асфальт был сух, скупосер и солнце зашло.

Лишь уже на Невском он сообразил, что ему нужно было спускаться в метро, не выходя с вокзала, но не стал возвращаться, а быстро, неоглядчиво прошел половину проспекта до Гостиного двора и спустился там.

Ах, она жалеет!.. – крутилась в голове одна и та же фраза, и, кроме нее, ничего в голове больше не было.

В знакомом дверном проеме знакомого дома, прислонившись к косяку и обхватив себя за плечи, стояла Елена. На запястье у нее болталась сумка.

– Поедем вместе, – сказала она. – Поезд прибывает ночью, метро не работает, такси не поймашь, я одна, – и ты собирался меня этим поездом отправить! Билет я сдала, не беспокойся.

Андрей хотел сказать, что она прекрасно знала все это и тогда, когда они покупали билет, но промолчал. Он поднялся по лестнице, позвонил, позвонил еще, еще – в квартире ничего не грохало.

Андрей спустился вниз. Жена все так же стояла у косяка, обхватив себя за плечи, ее бил озноб. Бледное ее лицо казалось голубоватым.

– Я тебя ненавижу, – шепотом сказала она, и Андрей услышал, как она сглатывает слезы. – Такой бесчувственный, бессердечный. Вечно всем недовольный. Всегда. И всегда я должна ублажать тебя... а сам ты как бревно – хоть бы палец о палец. И сейчас... все, что ты сегодня сделал, ты сделал, когда я... с твоим ребенком...

«О, черт побери! – с надрывом крутилось теперь в голове у Андрея. – О, черт побери!..»

– Я сейчас, – сказал он жене и снова стал подниматься по лестнице.

Он нажал на кнопку звонка – где-то там, рядом с ней, невидимые в темноте, карандашом накарябанные слова: «Маруся, жди!» – и жал на податливо принявший палец в свое углубление пластмассовый сосок под сверлящее дребезжание металла о металл с той стороны двери до тех пор, пока дверь не открылась.

– О господи! – сказала жена кавторанга. – Я так ведь и знала, что это вы. – На мгновение она облокотилась о косяк, будто готовясь, как вчера, к долговому, через порог, разговору, но тут же отняла от него руку и, сторонясь, раскрыла дверь шире. – Проходите. А где ваша жена?

Она была все в том же нейлоновом зеленом халате – домашняя вся, уютно устроившаяся в своем налаженном быту, но лицо ее находилось в тени, и выражения его Андрей не видел.

– Жена... жена здесь, внизу... сейчас. – Он был не готов к приглашению, он хотел лишь спросить у нее, злобясь на нее, глядя ей в переносицу, не знает ли она, что с соседями, куда делись, и теперь смешался, дернулся к лестнице – за Еленой, но она уже поднималась по ней смутным размытым силуэтом: услышала, видимо, все сама.

– Добрый вечер, – сказала она, входя в косо пересекающую лестничную площадку полосу света из квартиры.

– Добрый вечер, – отозвалась жена кавторанга.

Сейчас она стояла боком к двери, Андрей видел ее в профиль, и лицо ее показалось ему виноватым и смущенным. – Проходите, – глядя на Елену, повела она руками в глубину квартиры – Я вас ждала, честно говоря.

– Спасибо, – кивнула жена. Андрей взглянул на нее – губы у нее плотно сжались, глаза были остановившиеся и сумрачные.

Они зашли в квартиру, хозяйка толкнула дверь, и она захлопнулась.

– Проходите, пожалуйста. Вот сюда, в комнату, пожалуйста, – показывала она, теперь Андрей видел ее лицо совсем близко и хорошо – на нервных тонких губах ее дрожала улыбка; и было в ней что-то даже заискивающее.

Они зашли в комнату, обставленную стандартной современной мебелью и тесную от торчавшего посередине стола, только на стене висели портрет отца Елены, такой же, как в доме ее матери, и дореволюционный барометр в темном, почти черном, деревянном чехле. Андрей заметил, что обе женщины, почти разом, посмотрели на портрет, но никто из них ничего не сказал.

– Вы знаете... я вот что... – Жена кавторанга стояла у одного края стола, они с Еленой у другого, и она, подняв руки к груди, крутила на пальцах перстень с обручальным кольцом. – Я вот что... вы должны понять, я вас очень прошу... вы, Лена, женщина, вы должны... У меня аллергия, понимаете, – аллергия на все, что связано с прежней его жизнью. Аллергия – меня трясит начинает, понимаете? Я не знаю, Лена, как вы относились к прежней жене Анатолия – вы тогда все-таки девочкой были, когда приезжали, привязались, может быть... Это неправда, будто он ничего мне не говорил о вас, – говорил... это я так сказала... Я обомлела вся, понимаете, когда мне передали. Никакого звонка мне не было, а тут говорят – звонили, я просто взвилась вся. Опять какие-то хитрости, уловки... Такое она ему устроила, когда он на развод подал, это невозможно себе представить, это какой-то ужас, господи, сколько грязи, и это при том, что последнее время уже прямо открыто... – Она судорожно передохнула, крепко стиснула руки и опустила их. – Я потом, часа через полтора, когда мозги в порядок пришли, на улицу спускалась: вдруг, думаю, где-нибудь на лавочке в аллее сидят... На вокзале ночевали?

– На вокзале, – сказал Андрей.

– Ну вот, извините меня и начинайте чувствовать себя здесь как дома, – тяжеловесно сказала жена кавторанга и улыбнулась. – Я лично себя не чувствую, она уже разменяна. Анатолий вот вернется – и переезжать... Вещи ваши у меня. В коридоре стоят, мимо проходили – не заметили? Я сегодня утром сходила, забрала, очень кстати, между прочим, а то они нынче на все выходные к родственникам в деревню уехали. Поссорились даже, – она засмеялась. – Что же, говорят, вчера не признала?

Жена кавторанга замолчала. Все, что говорила, она говорила, обращаясь к Елене, и про вокзал спросила – тоже глядя на нее, Елена стояла возле стола, обхватив себя за локти, с запястья свисала кругло разбухшая у дна нейлоновая сумка. Андрей посмотрел на жену – губы ее были по-прежнему крепко сжаты, кажется, она и не собиралась ничего говорить.

– Мы, в общем-то, за вещами и зашли, – сказал он. – Собственно, к вам позвонили, чтобы узнать, где ваши соседи... ну, а вообще – за вещами.

– Ага... – переведя теперь взгляд на него, сказала жена кавторанга и покачала головой. – Ага... Ну что ж... Но, может быть, посидите все-таки, поужинаем? – торопливо, с искусствен-

ной бодростью выговорила она, вновь обращаясь к Елене. – Поезда еще есть, самые удобные, между прочим: утром приходят.

Елена не ответила, опустила голову, чтобы не встречаться с ней больше взглядом. Андрей увидел, как искусственная оживленность на лице жены кавторанга начала медленно истаивать, исчезла, оно словно посерело и стало совсем некрасивым, болезненным, яркие карие глаза сделались пыльно-черными, и он сказал:

– Нет, мы уж не будем оставаться. Билеты надо купить.

В прихожей он взял под вешалкой их чемодан с портфелем, жена кавторанга открыла дверь, и Елена, выходя, сказала, опять не глядя на нее: «До свидания» – первые и последние слова с тех пор, как переступила порог. Жена кавторанга стояла, прислонившись к торцу двери, лицо у нее было усталое, горькое, и Андрей подумал: все это, их отъезд и молчание жены, она относит к себе, ставит в вину себе, надо ей как-то объяснить... но не задержался, тоже лишь кивнул: «До свидания», переступил порог, дернулся повернуться – все же попытаться объяснить... и дверь с металлическим лязгом замка шлепнула дерматином о косяк.

Какая была знакомая дорога: сто метров до угла по узенькому, похожему на серый полочник тротуарчику, потом – грохот трамвая рядом, ослепше трясущегося с включенными кругляшками подфарников по навеки указанному железному пути, так еще несколько сот метров – и фиолетовая в Ленинграде буква «М» заглотила стеклянными створками рта, пронесла по туннелям, эскалаторам, вестибюлям и отпустила, хрустнув металлическим суставом другой створки, за несколько километров от той, впустившей, – под гулкие высокие своды...

– Надеюсь, Сергей твой будет доволен: на вокзале ему переспать всего одну ночь придется. Ничего страшного, по опыту знаю. – Жена сказала это, когда они встали в хвост очереди, змеившейся вдоль стойки с окошечками касс, и это были первые слова между ними, как они вышли из квартиры.

«Если мы сами еще одну ночь не будем здесь кантоваться», – хотел сказать Андрей, но вышло – подумал лишь, потому что только взглянул на нее – жена с кривой насильственной улыбкой ждала его ответа – и решил не отвечать.

И молчание между ними длилось еще целый час – до той самой поры, пока они не сели в поезд и он тронулся, с бархатной неслышностью оттолкнув от себя город, и все быстрее, быстрее, мелькая огнями, тенями, чересполосицей тьмы и света, уходя, уносясь от него – к иному, далекому, неотвратимо влекущему.

– Я с тобой в самом деле больше не могу, – сказала жена, кусая губы, мотая назад откинутой головой – возле окна напротив туалета, держась за вихляющийся тонкий поручень, глядя в это все нарастающее мелькание света – тени, света – тени. – Не могу, не могу, не могу!..

Андрей стоял спиной к коридору, закрывая их разговор от взглядов любопытных, держал между пальцами сигарету и не курил – крутил и сыпал табак на пол.

– Я тоже, пожалуй, – отрывисто, с хрипом сказал он, когда она замолчала.

* * *

Они не разошлись – ни по приезде, ни после; как бы у них там ни было – это просто-напросто невозможно было тогда, ни для нее, ни для него, и то, что нагноилось и прорвалось, подчиняясь новой, зарождающейся жизни, вынуждено было, волей-неволей, кровотока, обрастая болезненной шелушащейся коркой, заживать, срастаться, и вот подошел срок, и по внутрибольничной телевизионной системе, в дощатой, покрытой лаком кабине, по допотопному телевизору «Луч» Андрей увидел новорожденное свое дитя, тихо посапывающее после материнской сладкой груди в поднявших его к телекамере руках медсестры, а там настала новая пора: мокрых пеленок, сохнувших после стирки по всей квартире, утренних пробежек на молочную кухню, ночного детского крика и плача, бесконечного глажения распашонок, под-

гузников, косыночек, чепчиков и, наконец, одуряющих, по три на день, по два часа каждая, уличных прогулок – и все, кроме этого, исчезло, словно все то, прошлое, ухнуло разом, бесшумно проломив некую перегородку, в зияющую бесконечной тьмой бездну, и остался лишь твердый, в подплывах мертвого мяса рубец, который даже и не ныл, не напоминал о себе, а только иногда, как настоящий рубец на живой ткани при неловком движении, передергивался вдруг тугой безболезненной судорогой.

Летом выехали на дачу. Пятнадцатиметровая клетушка в подмосковном поселке «Семхоз» с верандой стоила триста рублей. Елена сидела на даче безвылазно, Андрей же мотался каждый день в Москву, полтора часа в одну сторону, полтора в другую, возил бесчисленные бутылки молока, пакеты с продуктами, мясом, стиральными порошками...

В июле у мальчика начали резаться зубы. Третья ночь проходила в непрерывном беганье по дачной клетушке с ним на руках, и в ожидании запаздывающей электрички Андрей уснул на станционной скамейке, притулившейся у деревянной изгороди платформы, и проснулся весь потный, с солнцем на лице, с ватной разбухшей головой от торможения за плечо: электричка, шипя и скрежеща тормозами, уже замирала у платформы.

И в этот-то миг, когда он вскакивал со скамейки, подхватывал портфель с брякнувшими в нем пустыми молочными бутылками, бежал к разъехавшимся дверям, впрыгивал, ему вспомнилась эта их годичной давности ленинградская эпопея, не вспомнилась, нет, – ожила, и его словно пробило током: она же, та поездка, была им дарована как освобождение! Так все слабо и непрочно было у них, истончилось – неминуемо должно было порваться.

Вот, не порвалось.

Двери сошлись, мягко хлопнув резиной, поезд дернулся, и, как новый удар тока, в Андрея вошла догадка: а ведь та их ленинградская жизнь – это зеркальце, поймавшее на секунду и зайчиком стрельнувшее в них всю их завтрашней, будущей жизнью!

И потом, трясясь, мотаясь на поворотах в переполненной электричке, читая механически знакомые наизусть названия проносащихся мимо платформ, он думал со страхом и недоумением: да почему?! – перебирал в памяти все события этих двух дней, и они с непреложной убедительностью говорили ему: так, так! Сквозь муть, сквозь всю нелепицу приключившихся с ними происшествий просвечивало яркое пятно пережитых там ими ощущений и чувств, настолько яркое, что теперь, задним числом, можно было, не обинуясь, назвать его, пожалуй, счастьем, но там, в той ленинградской жизни, все время, постоянно оборачивалось оно несчастьем.

Чем дальше, тем больше будет рубец грубеть и мертветь, терять последнюю свою чувствительность, но отболевшую, отсеченную ткань не восстановить, не нарастить вновь. И что это – бог, дьявол, стечение случайное обстоятельств? Почему им пала такая карта, и в чем ее смысл, и есть ли он, а если есть – дано ли будет понять его, или же так это все и останется тайной, опечатанной семью печатями, и надо смириться с этим? Быть может, иная жизнь, другая судьба ждали тебя уже за поворотом – и ничего это никогда уже не будет узнано и пережито, и никогда не узнаешь, что именно уготовано было тебе за поворотом...

После Мытищ освободилось место, Андрей сел, снова уснул, но вдруг проснулся от внутреннего толчка, с абсолютно ясной, чистой головой, снял с полки портфель и вышел в тамбур, словно там, во сне, ему уже была дана команда поступить именно так. В тамбуре он протолкался к окну и встал к нему вплотную лицом, под струю бешено хлещущего ветра. «Ничего, ничего, – говорил он себе. – Ничего...»

Перекресток

В июле на неделю отпуска приезжал домой двоюродный братан Генка и звал Володьку в Москву.

– Проволынишься, упустишь время – после кусать локти будешь, – говорил он. – Нынче-то бы как раз – в училище да в девятый класс заявление, следующий год – на разряд сдашь, другой – на аттестат зрелости. Самая нынче пора.

– Да-а... а чего она, Москва-то, – вроде ему совсем даже неинтересно было говорить на эту тему, тянул Володька. – Медом, что ли, мазана...

– Медом не медом, а... Москва, Володька, она и есть Москва. Чего тебе объяснять – в нашей деревне жить или москвичом быть, – отвечал Генка.

Сам он, миновав областной город Пермь, уехал в Москву после восьмого класса, выучился на каменщика, прошлой весной демобилизовался, вернулся в СУ, в котором работал до призыва, и зимой женился на москвичке.

У Володьки внутри горело, но решиться на такое, как двоюродный братан, у него не хватало смелости, и он тянул завистливо, усмехаясь в сторону:

– Дак а да... с мамкой вон как... и с папкой говорить надо.

– А чего? Я поговорю, – предлагал Генка.

– Да ты... дак самому, поди, надо, – ни на что не решался Володька.

– Ну, смотри, прошляпишь счастье, – обрывал разговор Генка. – Потом полезешь пытать – ан поздно. Это дело начинать – чем раньше, тем лучше.

Он уехал, а Володька думал теперь о Москве безотвязно, и тянуло его туда день ото дня все пуще.

Это лето он ходил подпаском с угрюмым старым мужиком Анисимом. Раз, в обеденную пору, когда сели над тряпицей с домашним припасом, Володька открылся ему, и Анисим, ощерясь коричневыми редкими зубами, похекал смеясь:

– Ну дак терпежу нет, дак дуй. Когда терпежу нет, дак знашь... и в штаны сделаешь.

Но Володька не решался. А по ночам снилась Москва, такая, как в кино: дома, дома, машины, машины, огни, прорва людей на улицах – и среди всего этого где-то там он, Володька, и так ему хорошо, как никогда не было в жизни...

* * *

Шел дождь, Майя угодила в яму с водой, едва сойдя с автобуса, и так потом и шла до самой школы – с мокрыми ногами, в чавкающих лаковых туфлях на высоком каблуке, с нелепым здесь японским зонтиком над головой. Возле магазина, где под козырьком крыльца топталось несколько человек, она остановилась спросить о школе и потом, оглядываясь, видела, что все смотрят ей вслед.

– Что ж это вы, милая, так поздно. Завтра уж первое сентября, – попеняла ей директор школы, пожилая тучная женщина в мужеподобном полосатом костюме и синей блузке с отложным воротом. Углы рта над верхней губой были у нее в седых усиках. – У нас тут еще двое таких, как вы, они прибыли как положено.

– С Москвой прощалась, – сказала Майя.

– Москвичка? – спросила директорша.

– Вообще нет. Но я там пять лет проучилась. Так что все равно что москвичка.

Они разговаривали в директорском кабинете, узкой, тесной комнатке, обставленной столом, двумя книжными шкафами и связкой стульев у стены, а за окном шел дождь, и ноги у Майи в туфлях были мокрые.

– Нельзя так, – сказала директорша. – Мы уж на вас и не надеялись. Теперь завучу расписание пересоставлять, нагрузку перераспределять.

– Ну так тогда отпустите меня, – с веселостью в голосе сказала Майя, шевеля в туфлях пальцами.

Директорша засмеялась.

– Не-ет. Мы вам тут еще жениха найдем, хозяйством, детишками обзаведетесь – никуда не уедете.

– Я с этим делом не тороплюсь. – Майя с тоской посмотрела на чемодан, в котором лежали осенние туфли и в которые она, найдя школу, не посмела отчего-то переобуться. – С хозяйством, я имею в виду, – уточнила она.

– А вы на чемодан посмотрели, так я про другое подумала, – сказала директорша. – Срок-то уж, конечно, отработать придется.

Майя промолчала.

Выйдя от директора, она зашла в туалет, раскрыла там на полу чемодан и переобулась, затолкав грязные туфли в полиэтиленовый пакет.

Но когда она добралась до отведенного ей на постой дома – в дальнем, за оврагом, конце села, ноги в мелких осенних туфлях снова у нее были мокрые и туфли до самого верха в грязи.

– Э, хорошая ты моя, – всполошилась ее хозяйка, когда Майя сняла туфли, носки и пошла по полу босиком, оставляя за собой мокрые следы. – Да у нас по такой погоде, ты че, только в сапогах, в туфлях-то ты че... Долго эдак-то бегала? Два часа? Дак ты че, ну, девка...

– Сапоги у меня есть, бабусь, – сказала Майя. – Только они у меня в багаже, в камере хранения на станции.

– В туфлях... по эдакой-то погоде, городская ты голова... – Хозяйка сунулась за печку, пошебуршала там чем-то бумажным и выкинула Майе валенки. – Надень-ка, согрей ноги-то. Лекарить сейчас с тобой будем, че ж делать-то.

Хозяйка была мягкой, круглой, но с крепким, широким костяком старухой, морщинистое лицо ее, усаженное там-сям бородавками, было улыбочиво и добро, и капельные глаза, увидела Майя, когда хозяйка подошла к ней с валенками, были хоть и постиранные временем, поблекшие, но голубые.

Она налила Майе рюмку, выпила сама, накормила ее щами, забелив их сливками, налила еще по рюмке, потом заставила пить чай с сушеной малиной, и обе они захмелели.

– Ой, я не москвичка, Клавдия Никитична, нет, – говорила Майя, смеясь почему-то и ложась грудью на стол. – Я только там училась, а вообще я из такого города – Россошь, вы не слышали, это далеко отсюда, Воронежская область... И папа, и мама, да, Клавдия Никитична, да, и сестра еще, а я вот – приехала, преподавать буду...

– А я все тут, все тут живу – как родилась, – говорила хозяйка. – Шестьдесят три годка... Ой, девка!.. Село-то у нас большо было, завод стоял, дак я уж того не помню – плотину порушили, колхоз организовали. Тот год и замуж пошла – и все тут, все тут...

Через полчаса Майя знала уже всю жизнь Клавдии Никитичны. Был муж, да погиб, было трое деток, да осталась одна дочка, сыновей – младшенького, восьмимесячным бог прибрал, у многих тогда, кто себе на горюшко перед войной понес, поумирали, старший на лесоповал поехал, денег привезти хотел, а его самого привезли... Дочка вот там, на станции, в райцентре живет, внучонок здесь, с нею, с бабой Клавдией, до пятого класса рос, а потом они квартиру получили, забрали его к себе, так уж вот шестой год она одна да одна, то вот и на постой пускает – все в доме как-то веселее.

– Дак, девка, глядишь, и шевелиться хочется – пол помыть, еду наварить. А одной-то себе – че... Без узды жить – не в радость ни есть, ни пить.

От валенок шло по ногам тепло, чай с малиной выгонял на лоб жаркую испарину, в глазах все плыло и качалось, и Майе наконец было хорошо и покойно. Ну вот, все, добралась, теперь все, жить, ходить в школу, село осмотреть, окрестности здесь, наверно, чудесные, думалось ей. Водки выпила, чаю напилась – тепло, теперь не заболею.

Ночью Майя проснулась в своей маленькой, в дальнем углу избы, за печкой выгороженной комнатке, отведенной ей Клавдией Никитичной для житья, оттого, что была вся мокрая от пота. Она встала, переделалась, перевернула ватное одеяло другой стороной и вновь легла, прислушиваясь к себе. Но вялости в теле не было, все в ней было бодро и здорово. Тогда она опять встала и раскрыла окно. Дождь прекратился, и где-то светила луна – от ее бледного света улица за окном была вся исчерчена тенями. Дом в тишине дышал – что-то потрескивало, поскрипывало, и по чердаку, казалось, кто-то ходит мягкими тяжелыми лапами.

* * *

По алгебре с тригонометрией и литературе были новые училки. По алгебре с тригонометрией – Людка Долгошева, еще прошлый год приезжавшая к отцу-матери на каникулы и оравшая как ошпаренная: «Я вам, погодите, всем двоек наставлю!» – когда ее шугали с кинемехаником Васькой Длиннорукиком от омутка в овраге, так что никого она особо не заинтересовала, а по литературе – Майя Константиновна, приехавшая даже не из областного пединститута, а из самой Москвы, в коричневых, блестящих, как галоши, туфлях на высоченном каблучище, в длинной коричневой юбке и какой-то кружевной кофте с большим, коричневым же бантом. Был еще один новый учитель – мужик с бородкой и в очках, по физике вроде бы и химии, – но он преподавал в других классах.

Майя Константиновна, когда оставалось время в конце урока, говорила, стоя у доски с заложенными за спину руками, улыбаясь какой-то особой, какой Володька ни у кого раньше не видел, ласковой и пронизывающей улыбкой, словно бы она видела их всех насквозь, но утаивала это свое умение:

– Ну, а теперь, пожалуйста, вопросы. Кто там у меня что-то хотел спросить?

Никто не помнил, что он хотел спросить во время урока, и вопросы задавали совсем о другом, о чем всего интереснее было спросить Майю Константиновну, – о Москве.

– Ой, а скажите, Майя Константиновна, – верещали девчонки, – а правда, да, что в Москве такую прическу делают – вот сделали ее, и полгода с ней ходи, а она не ломается?

– А вот что, в самом деле сто кинотеатров в Москве, и в каждом другой фильм крутят? – спрашивал кто-нибудь из ребят.

– А вот еще говорили, будто там кур доят и коровы яйца несут? – выкрикивал со своего места Володька, и все смеялись, и Майя Константиновна тоже смеялась, стоя у доски с руками за спиной, и бант на груди у нее от смеха колыхался.

– Нет, это не так, конечно, – говорила она. – Но Москва в самом деле необыкновенный город. Это даже шесть-восемь, а может быть, десять городов. Есть Москва современная и Москва историческая. Москва литературная, Москва архитектурная, Москва театральная, научная, рабочая... И еще в Москве всюду асфальт, – прибавляла она иногда, почему-то со смешком.

Она рассказывала о том, что же это такое – Москва историческая, или литературная, или архитектурная, Володька слушал, и все в нем так и горело. Это ж жить там, среди этого... да это ж какая жизнь!

А дома, когда приходил, мычал телок в сараюшке, прося есть, ходили с кусками младшие братьовья, прибежала с поля мать, терла со скорым ожесточением руки под рукомойником,

бегала, бухая сапогами, по избе, собирая обед, толкала Володьке в руки ведро: «Ну-ка, к телку-то», – и отец, приходя вечером с работы, валился на диван и лежал так полчаса или больше, шевелил пальцами рук и ног и говорил матери: «Ну все, больше шиш! Опять в Листвянку гонял – ну шиш им больше, че это я! Пусть кто другой, не дорога, а, ё-моё, доска стиральная...»

* * *

Майя понемногу обвыкалась.

После того, в день ее приезда, дождя погода выправилась, и сентябрь до самых двадцатых чисел стоял сухой, теплый, в воздухе летала паутина, и по вечерам громко, будто булькали в горле водой, кричали лягушки. Этими теплыми вечерами она обошла все село – оно было большое, вытянувшееся тремя улицами по склону над бывшим прудом на два километра, недалеко от школы находился клуб – одноэтажное длинное здание с четырьмя приземистыми колоннами по фасаду. В клубе по средам, субботам и воскресеньям показывали фильмы, по пятницам и субботам происходили танцы. В клубе же размещалась совхозная библиотека, и неожиданно для Майи она оказалась богатой: том к тому стояли и просились взять их в руки собрания сочинений Бунина, Чехова, Толстого, Гоголя, Хемингуэя, Флобера, а за ними теснились издания «Академии» тридцатых годов, серенькие книжечки двадцатых, периодика десятых и девяностых, и во всем этом можно было рыться и брать на дом как учительнице хоть связками.

Попутной совхозной машиной она перевезла со станции свой багаж: два больших чемодана и три картонных коробки из-под макарон, купленных за десять копеек штука в ближайшем от общежития продовольственном магазине, две из них были с книгами и пособиями, а в третьей, переложенные ватой, бумагами и всяким тряпьем, – дулевский чайный сервиз, вилки, ножи, тарелки, шумовка, солонка, половник, кастрюли, все те необходимые хозяйственные принадлежности, которыми обросла за пять лет жизни на одном месте. Шофером машины оказался отец ее ученика из девятого класса, всю дорогу он выспрашивал ее о сыне, а Майя лишь смутно припоминала лицо этого мальчика – круглое, конопатое, с приплюснутым тяжеловатым носом и вроде бы ждущими какими-то глазами – и больше ничего не могла о нем сказать, кажется, это он, когда она рассказывает о Москве, выкрикивает всякий раз какую-нибудь нелепость.

– Вы к нему, я вас сердечно прошу, приглядитесь, – говорил шофер, отрывая от дороги глаза и косясь на Майю. – Что он за парень – вот мы с матерью никак угадать не способны. То ли его к технике пристраивать, то ли скотником пусть, что ли, – вон ноне лето опять со стадом ходил, второй уж раз...

Майя кивала согласно.

Преподавательница математики, тоже первый год после института, но здешняя, Людмила Долгошева, устроила у себя вечеринку, и Майя познакомилась на вечеринке со всей местной молодой интеллигенцией. Под звание это подпали врач – высокий худой мужчина лет двадцати семи с прыщеватым лицом и тощими желтыми усиками, все время, к месту и не к месту, усмехавшийся, жених Долгошевой – киномеханик, учитель физики и химии, тоже, как и Майя, учительствовавший первый год, ее сверстник, носивший для солидности мягкую, почти пушок, светлую, аккуратно подбриваемую на щеках бородку, с которым Майя была уже знакома по школе, еще две учительницы, приехавшие в прошлом году, агроном, завклубом – восемнадцатилетняя девчонка, закончившая культпросветучилище, и секретарь директора совхоза – толстая перезрелая женщина под тридцать, с угрюмо-саркастическим прищуром маленьких настоженных глазок. Агроном был с женой, говорливой, старше его на несколько лет шептливой бабенкой, всякий раз, когда муж начинал о чем-нибудь говорить, обрывавшей его: «А ты-то уж помолчи, что ты сказать можешь». Пили местную водку и «красненькое» – дешевый, обди-

равший горло, словно теркой, портвейн, танцевали под снесенные специально к вечеринке, кто какие мог, пластинки, попробовали петь под гитару, но играть на ней никто толком не умел, стали играть в фанты, но водившая, девчонка-завклубом, подглядев неловко, заказала поцеловать агронома вместо его жены секретарше директора, та заоглядывалась по сторонам, заотнекивалась, краснея, жена агронома вдруг выкрикнула зло: «А чего, только без меня можете?» – и больше уже не играли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.